

**Из жизни людей.
Полуфантастические
рассказы и не
ТОЛЬКО...**



Тулупов Александр

Александр Евгеньевич Тулупов
Из жизни людей.
Полуфантастические
рассказы и не только...

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69620578
SelfPub; 2023*

Аннотация

"...Я не к себе отношусь с беспокойством, а к своему делу. И не важно, что подумают обо мне, но совершенно не безразлично, как отнесутся к результату моей работы! Написав стихи, прозу или нарисовав картину, мы делали это часто не только через мучения, обязательно ещё и в своё удовольствие, и непременно для людей. Для людей, которые оценят, на которых это повлияет или заденет их за живое. Даже если их будет немного, этих ценителей твоего творчества, но именно для них и через себя ты сотворил что-либо. Это мое общение с миром и людьми за пределами моей жизни, а не только здесь и сейчас. И как же мне не беспокоиться об их мнении, их реакции? Пусть это даже злая критика или безоговорочное одобрение и приятие... Я так объясняю своё беспокойство". (А. Тулупов)

Содержание

«В рабочий полдень»	6
К 8 Марта	8
Дума о дебилах ...	16
Куравлёв Леонид Вячеславович	19
Чурик	21
Он?	26
Вот ведь...	30
Актриса	32
Офыбка	36
В строю и вне... Самый счастливый день	39
В строю и вне... Ещё один самый счастливый день...	42
Берёза	53
В лесу	55
Второй концерт...	63
Бедная Лида	73
Главное — зубы! (не очень смешные истории)	84
Детский садик	87
Дуся	89
Жириновский	94
Запах солнца	101
Иван Никандрович	103
Катенька	108

Ко Дню Конституции	114
Коленки	120
Линия... (мистическая история)	123
Мутанты или как выйти из лабиринта...	130
Наташка	137
Не убий...	139
О друзьях-товарищах	151
О птичках	156
Откровение	165
Прессинг, корысть, любовь и Бог	168
Сахаров	175
Две случайные встречи	178
Святые...	185
Слаёнов	190
Такая непростая история	195
У Рихтера	201
Хирурги	204
Чёрт окаянный!	207
Чеснок	211
Шиш под лобыш или почему хорошие мальчики любят плохих девочек (рассказ рядового инженера)	213
Билетик	222
Болтуны	224
Весна...	226
Высоцкий	228

Выстрел в лоб	232
Главное — ноги (не очень смешные истории)	237
Сидим мы как-то с женой...	240
Жить вредно... (на завалинке)	244
Золотухин	246
Ихняя...	251
Как я было поверил взрослым	253
Керри	261
Луковка	273
Машина времени (полуфантастический рассказ)	275
Одиночество	281
Прилетел!!!	287
Сасок плисол!!! (фантастическая история)	291
Страшное дело!	296
Я пошёл в магазин...	297
Дядя Боря	301
Тётя Оля	317
Зиночка	323

Александр Тулупов

Из жизни людей.

Полуфантастические рассказы и не только...

«В рабочий полдень»

Москва. 1991-й год. Осень, ноябрь.

Моя первая жена только окончила Гнесинку и устроилась петь в государственный академический хор.

Концертов нет. Никому ничего не нужно, кроме как поесть. Но репетиции на всякий случай идут своим ходом – вдруг востребуют...

И вот первый за месяц концерт! Отъезд на поезде в час ночи. Ждёт славный город Елец! Именно там в столь тревожное время живут такие долгожданные и большие ценители хорового пения! Рано утром высадили почему-то в поле. И по грязи – вперёд: в зябкую, туманную, предрассветную мглу.

Оказалось, что это шефский концерт духовной музыки (С. В. Рахманинов, П. Г. Чесноков, Д. С. Бортнянский и т. д.) с названием, как у известной советской радиопере-

дачи: «В рабочий полдень», для работников местного мясокомбината.

Завтраком покормили в столовке. Дали геркулесовую кашку и кофе из цикория с калорийной булочкой. Распева-лись и репетировали наскоро в подсобке. Переоделись там же и пошли в конференц-зал, где и предполагалось радовать зрителя искусством.

Выходит хор...

В зале сидят мужики и бабы в белых, забрызганных кро-вью халатах, с тяжёлыми, усталыми лицами.

Жена у меня смешливая... Когда объявили первый номер: – Сергей Васильевич Рахманинов «Тебе поём», – она на-чала колотиться от смеха прямо на сцене...

Это было её первое и последнее выступление в том хоре.

Ну а потом вообще из профессии ушла. А жаль... И го-лос был, и внешность была... Теперь у неё своя риел-торская компания. Говорит, что не жалеет...

А концерт тогда прошёл успешно. Публика подобрела. Все хлопали и снисходительно улыбались. Перед отъез-дом был обед. А ещё каждому артисту торжественно вручили по «колясочке» краковской колбасы.

К 8 Марта

Я учился во втором классе.

К 23 февраля наши девочки организованно дарили мальчикам подарки. Кто с кем за партой сидел, тот тому и дарил. Благо, что чудесным образом мальчиков и девочек в классе было поровну. Кто подарок купил, кто сам сделал, кому родители помогли.

Мальчиков попросили выйти из класса, и, когда мы вернулись, подарки уже лежали у каждого на парте. Для меня был приготовлен деревянный треугольник-линейка.

Девочку, с которой мы сидели вместе, звали Валя. Училась она плохо. Даже совсем плохо. Отвечая с места или, тем более выходя к доске – терялась, говорила односложно или вовсе угрюмо молчала.

У неё было большое лицо с крупными чертами, нависшие брови и округлый, с чрезвычайно глубокими морщинами лоб. Длинные волосы, зачёсанные назад и сплетённые в толстую русую косу, канатом свисали, украшая спину до самого копчика, а может, и ниже. Я всегда был довольно высокого роста, но Валя была как-то и повыше, и помощнее. Так часто бывает в начальных классах, впрочем, так бывает и после семидесяти. Мне же нравилась отличница Мила, сидевшая за первой партой. Она была прелестна: маленького роста, шустрая и сообразительная, бегло читала вслух, от-

вечала уверенно и внятно. А минувшей осенью 7 ноября её в числе ещё пятнадцати детей со всей страны отобрали поздравлять членов Политбюро на Мавзолее. Милочке очень повезло, ведь она вручила цветы самому Леониду Ильичу!

Но, как говорится, соседей не выбирают.

Я подошёл, сел на своё место, взял треугольник: «Спасибо, Валя!» – сказал я и бережно положил его в порт-фель.

Дней через десять мальчики должны были поздравлять девочек в ответ.

И вот накануне мы с моей крёстной, младшей маминной сестрой тётёй Таней, пошли покупать подарок. Где мы только не были! Заходили в Детский мир, галантерейные и подарочные отделы универмагов и наконец поехали в ЦУМ. Там я и увидел статуэтку фигуристки. Она была матово-белая, то ли керамическая, то ли фарфоровая, а может, даже из простого пластика. Но, главное, очень, очень..., очень красивая и очень-очень дорогая!

Три руб-ля!...

Для конца 60-х – цена безумная!

Но с тётёй Таней нельзя было ходить и выбирать «просто так». Например, нельзя было ездить «просто так» на Птичий рынок. В доме обязательно появлялся кто-то живой. Это мог быть хомячок, ёжик, ужик, черепашка или ещё кто угодно – забавный, пушистый или даже скользкий.

Короче, фигуристка была куплена.

Когда мы пришли домой и бабушка узнала, сколько стоит

поздравить однопартницу, то случился скандал, и прозвучала фраза: «Да вы с ума сошли?! А ты взрослая – и такая дура! Как ты могла?!»

Моя бабушка одна вырастила четверых детей в войну. Тётя Таня была самой младшей. Она родилась в конце марта 1941-го.

В начале июля дед ушёл в московское ополчение добровольцем. Через два месяца его привезли с фронта большого пневмонией. Он пролежал неделю в больнице и умер. Бабушка осталась не просто с четырьмя малолетками (два мальчика и две девочки), но ещё и без пособия по потере кормильца, так как дед умер не на поле боя...

Я не хочу, да и не могу описывать подробно то, что ей пришлось пережить. Рассказывала она очень мало. Говорила, что дед был не пьющий, работающий, грамотный. Жили небогато, но очень счастливо, если не считать смерть двоих первенцев. А тут война...

– Как ты мог записаться на фронт?! У тебя же бронь?! – готовя обед и шинкуя капусту, рассказывала бабушка мне, маленькому школьнику, события тридцатилетней давности.

– А он и говорит: «Ксения, у Витьки трое детей, и он записался, а ведь у него тоже бронь, и мне, говорит, стало перед ним неудобно». А потом забормотал про Сталина, про Родину... мол, защищать надо...

Бабушка похоронила мужа и десять лет не ходила на могилу. «Как он мог! Перед Витькой стало ему неудобно?! А пе-

редо мной удобно?! У тебя четверо детей, это они – Сталин и Родина! – в сердцах говорила она, и голубые глаза её становились белыми и прозрачными, – без него бы не победили?!» – и от её резких движений, а может, и слов, капуста разлеталась с доски по всему столу.

Вечером за ужином, придя с работы, к разговору присоединилась мама, которая тоже очень подивилась нашей добыче в Центральном универмаге Москвы. Мы с тетей Таней сидели, как оплёванные, и молчали.

Утром после завтрака я вновь достал статуэтку из коробочки, установил её на сервант, осторожно погладил и чуть отошёл. «Какая красивая, – подумал я ещё раз, – как жалко дарить!» – вздохнул и поместил девушку обратно в коробочку. Сдвинув учебники и тетрадки в одну из сторон портфеля, я аккуратно погрузил подарок в образовавшееся пространство, застегнул замочек на портфеле, оделся и торжественно пошел в школу.

Перед началом занятий наша первая учительница Мария Петровна Кузнецова, очень строгая, небольшого роста женщина лет сорока пяти, повелела девочкам выйти из класса, а мальчикам – выложить приготовленное на свои парты.

Я трепетно достал из коробочки подарок и поставил его на тот край парты, куда должна была прийти и сесть Валя. Дверь распахнулась, мальчики встали, девочки начали заходить. Я очень нервничал. События вчерашнего дня, сама сложность выбора покупки, желание удивить или даже пора-

зить соседку по парте, доказать бабушке, а главное, себе самому, что так и надо, – всё это вместе давило и волновало.

Валя подошла резкими шагами и села за парту. Я, стоя, торжественно начал:

– Валя, поздравляю тебя с восьмым Марта! Желаю здоровья...

В этот момент Валя схватила статуэтку и быстро, повертев её одной рукой влево-вправо, небрежно закинула в свой портфель, одновременно раздражённо и себе поднос, но весьма слышно, брякнула: «Говна-то!»

Когда помоями обливают, наверно, не так обидно...

Уроки закончились. Я пришел домой. Бабушка, как всегда, приготовила обед. Я переоделся, помыл руки и сел за стол. Была слабая надежда, что пронесёт и что бабушка вдруг всё забыла и не спросит... Но первый же вопрос был на злобу дня:

– Ну, как подарок, вручил?

– Да, – сказал я, всё ещё надеясь, что отделаюсь легко.

– И, что – понравился?

– Не знаю, – пробубнил я и хлебнул ложку с супом.

– Как – не знаю?! Что она сказала-то?! – бабушка не унижалась...

Я собрался с духом и выпалил:

– Она сказала: «Говна-то!».

Бабушка, которая маячила от стола к плите и обратно, вдруг замерла. Я смотрел в тарелку, всем своим существом

готовясь к окончательному разному. Бабушка иногда могла ещё и съездить полотенцем по затылку.

Так, как в этот раз, бабушка смеялась очень редко. В связи с хронической бронхиальной астмой воздуха ей надолго не хватало, и она, едва успевая делать короткие вдохи, заливалась снова и снова.

Сколько я помню бабушку, она всегда пела.

Пела, когда готовила еду, когда гладила, когда мыла посуду или вязала. Голос был небольшой, но свободный и от того красивый и полетный. Вот этим красивым голосом бабушка и засмеялась. А я, никак не ожидая такого поворота в восприятии случившегося, радостно всё съел и пошел делать домашнее задание.

Потом я гулял. Раньше все дети сами ходили в школу и гуляли во дворе своего или даже соседних домов. Главное было только сказать родителям, куда именно ты пошел, где будешь и с кем.

Вечером все собрались за столом на ужин. Кроме мамы и тёти Тани пришел ещё и дядя Юра – один из бабушкиных сыновей. Мне задали всё тот же вопрос о торжественном вручении подарка. Ну и тут уж я, понимая всю безопасность настоящего момента, выдал историю в лицах и паузах. Все сначала тоже остолбенели и удивились, но глядя на бабушку, тоже развеселились. Она же смеялась звонче всех. А я был очень, очень доволен...

Удивительное поколение, прошедшее ту войну! Мне сей-

час больше лет, чем ей тогда. И мне сегодня, вспоминая ту историю, тоже смешно. Но что бы нам и не посмеяться, когда и сотой доли всех тех ужасов нас не коснулось. А потому нам радоваться легко и просто. Ну и слава Богу!

Эпилог

А Валя проучилась с нами до восьмого класса и ушла во взрослую жизнь. Мы, одноклассники, ничего не знали, да и не интересовались, что с ней и как.

Я встретил её однажды, лет через восемь, возле метро Профсоюзная. Было это уже после службы в армии, когда я ходил по улицам Москвы и все мне казались родными или друзьями. Она выходила из магазина – я входил, и мы буквально столкнулись в дверях. У Вали на верхних веках были положены голубые тени (тогда так было модно). Всё остальное осталось без изменений. Смотрелось это зловеще.

- Здравствуй, Валя! – радостно воскликнул я.
- Здррс... – пробурчала Валя, глядя куда-то в пол.
- Как жизнь, где работаешь?
- Швей-мотористкой в ателье.
- Что шьёшь?

Она протянула руку к моей куртке-ветровке,хватила ее за воротничок, быстро покрутила его влево – вправо:

– Вот это – на вас, – Валя зыркнула исподлобья, – куртки мужские.

Очень хотелось спросить: замужем ли, есть ли дети, помнит ли она про статуэтку, может, сохранилась? Но, не стал... Что-то неловкое было во всей этой нашей встрече... И я распрощался с ВалеЙ... наверно, навсегда.

Дума о дебилах ...

(и не только)

Дебильность – медицинский термин, характеризующий степень самой лёгкой (слабой) умственной отсталости.

Их количество во всех странах и народах различное, но стабильное и довольно высокое. Слышал, что ещё в советское время процент подобных учеников в общеобразовательных школах доходил до двадцати.

Однако сегодня по официальной статистике их не более 3%. Странно, не правда ли? Но, оказывается, получить диагноз дебил в наше время очень сложно. Для этого необходимо пройти целый ряд исследований и диагностических мероприятий. Так что три процента – это только зарегистрированных, а на деле дебилы могут оказаться более значимым в количественном отношении отрядом живущих с нами рука об руку граждан.

В связи с постигшим меня знанием я с тех давних, ещё советских, пор, а ныне особенно, озадачился несколькими животрепещущими вопросами.

А именно:

– куда они деваются во взрослой жизни;

– может ли дебил сделаться примерным и любящим семьянином;

– легко ли, да и возможно ль, научить дебила правильно любить свою Родину;

– как распознать дебила в своем руководителе или супруге, и что тогда в связи с этим следует предпринять;

– и, наконец, насколько возможно дебилу стать большим учёным или политиком?

Один из признаков дебила – неразборчивый почерк. Но и у Альберта Эйнштейна, и у Льва Толстого был отвратительный почерк. Как быть? Кому верить? Что думать и что делать?

Просто руки опускаются...

Потому-то государство и общество испокон веку брало на себя ответственность совместно и активно прилагать нечеловеческие усилия по максимально беззаботному и облегченному житию этой обделенной природой категории граждан. Особенно многое было сделано и делается в последние годы. Бесконечные телевизионные ток-шоу, мелодраматические сериалы, юмористические и иные развлекательные программы заняли почти всё эфирное время. И это очень правильно! Ведь им тяжело и неуютно среди нас – счастливых и здоровых. Их меньше, и они, как принято сейчас говорить, иные (впрочем, судя по количеству массово ржущей публики, их может быть уже и больше). И всё же... Им неинтересно в театре, они не пойдут в оперу, балет или на концерт симфонической музыки. Но нельзя так безжалостно разделять их со всеми остальными и давать почувствовать даже

в малой степени этот несправедливый природный провал!

В связи с вышеизложенным, предлагаю вовсе стереть ущербную грань, облегчить и усилить возможность их проникновения в мир прекрасного, а именно:

– в филармонических залах и академических театрах выделить специальные два-три ряда для наиболее передовых и продвинутых дебилов, всё же пожелавших посетить подобные виды искусства;

– пришедшим на льготные места непременно надо создать все привычные для них условия пребывания на массовых мероприятиях, и дабы не унижить и не оскорбить их чувства звуками симфонической, хоровой или оперной музыки, необходимо сохранить созвучную им атмосферу футбольных матчей, боев без правил либо мотоциклетных гонок, разрешив громко разговаривать и даже кричать, свистеть, стучать ногами и улюлюкать.

У меня только есть одно маленькое сомнение...

По прошествии некоторого времени – они станут с нами в один ряд или мы с ними?

Куравлёв Леонид Вячеславович

Было это лет двадцать назад...

Встреча со зрителями в Зеленограде. Я веду программу.

Кто поёт, кто читает, кто вспоминает.

Подхожу к Леониду Вячеславовичу, который за сценой сидит на стульчике. Ему через десять минут выходить. Спрашиваю, как лучше представить?

– Да, объяви хоть как, – говорит, – боюсь я, Саш. Я ведь не «разговорник», не юморист, не пою. Чего я им говорить-то там буду?

И так он мне это в сердцах сказал, что я сразу поверил, проникся и представил грозящую катастрофу. Он, действительно, переживал и смотрел на меня очень тревожно.

Я немного подумал и вдруг говорю:

– А вот так и начните, как сейчас: ну, что боитесь, что не поёте, не «разговорник»... дальше само пойдёт. Вы так это естественно, эмоционально и откровенно сказали! Вот и повторите! А там ещё и нарезка из фильмов с Вашими комментариями в помощь...

Куравлёв опустил на пару секунд глаза, затем поднял их, лукаво посмотрел на меня и вдруг с интонацией и голосом Пашки Колокольникова сказал:

– Штэ, ты...?

Через пять минут вышел на сцену и начал именно так.

Всё прошло прекрасно!

Зритель был восхищён и очарован!

Чурик

Было это уж совсем давно...

Я иногда приходил в гости к своему дяде. Звали его Юра (мамин родной брат). Жил он с женой и сыном неподалеку от нас: возле метро Профсоюзная, за рестораном «Черёмушки».

Так как мама недавно развелась с отцом, дядя Юра время от времени исполнял его роль, участвуя в моем воспитании. Мы то в парк на лыжах ходили, то на стадионе за «Спартак» болели, то просто я сидел целый день у них в семье и смотрел телевизор, играя с двоюродным братом и кошкой Муркой. От дяди Юры я узнал про легендарного пограничника Никиту Карачупу, вместе мы ждали у телевизора боксерские бои с Валерием Попенченко. Наверно, многие знают и помнят боксера Валерия Попенченко, но уже мало кто видел его в прямом эфире – видел, как он самым коротким путем, без излишних «танцулек», добирался до головы или корпуса соперника и бил точно и конкретно. По манере и технике это, наверно, был предшественник Майка Тайсона.

А однажды мы с дядей Юрой случайно включили телевизор и увидели Игоря Ильинского в драматической роли. Он, прославленный комедийный артист, читал перед телекамерой «Старосветских помещиков» Н. В. Гоголя. Даже у меня, десятилетнего мальчика, перехватило горло. Это было гени-

ально! Как написано, так и прочитано!

Ильинский дочитал, дядя Юра быстро встал и ушел на кухню... Зазвенел о горлышко стакан, забулькала жидкость, глотнул, подавился (видимо, сегодня это была первая доза, и сразу она не полезла), но уже через минуту вернулся размягченный и довольный.

Пока дядя Юра не допился «до чёртиков», он был очень юморным, добрым и ответственным человеком, хорошо знал оперу, много читал. Когда же в 37 лет умерла его задорная, звонко поющая и веселая жена Галя, дядю Юру понесло...

Но я отвлекся от сути своего рассказа...

Среди кирпичных пятиэтажек, расположенных метрах в пятидесяти друг от друга, где и жил мой дядя, росли густые кусты и деревья, образуя в каждом дворе свою отдельную ауру. Этот двор был самый зелёный изо всех. Кусты высотой в три-четыре метра образовывали потайные уголки и укромные места. Если идти от подъездов дома по одной из витиеватых дорожек, то можно было вдруг выйти на небольшую площадку, где стоял среди плотной зелени крепко сбитый стол со скамейками. Вот за этим-то столом летом в выходные дни собирались мужики (человек десять–двенадцать) – жители дома и, стуча костяшками, играли в домино.

Но домино было только поводом. Главное, ради чего собирались, это общение и «приём на грудь». Жены, да и вся родня игроков, конечно, были против такой игры с возлияниями. Они периодически контролировали процесс, несмотря

на то, что «спортсменами» каждый раз давались обещания: «Больше ни-ни!». Игроки же, чуть заслыша шуршание в кустах или шаги проверяющих, умело и ловко убрали посуду.

Я к этому столу приходил из любопытства, просто посмотреть, как они там играют. Мужики, обращаясь к дяде Юре, почти каждый раз шутливо спрашивали его:

– Он нас не заложит?

– Неее, – отвечал, глядя на меня, захмелевший дядя, – Шуряк свой, он не продаст!

И вот однажды я стоял возле стола и наблюдал их игру. Мужики, то выпивали, то рассказывали анекдоты, то ударяя по столу, периодически орали: «Рыба!»

Вдруг в кустах зашуршало, заёрзало, задышало... Посуда была моментально убрана в какой-то выдвижной ящичек, смонтированный под столом, а лица присутствующих приняли благообразные выражения.

Но тут из кустарника медленно и с достоинством, с очень серьезным видом вышла маленькая чёрненькая, кривоногая собачка какой-то невнятной породы и уставилась на игроков. Почти хором все выдохнули:

– Чуууурик!

– Ррр-гав! – ответил Чурик.

Он постоял буквально секунду и ушёл обратно в кусты.

Чурику тогда было лет пять. Я его до этого случая регулярно видел возле дома. Гулял он один, видимо, владельцы выпускали пёсика на самостоятельный выгул. Машин тогда

было немного, да и двор не проездной, так что опасность была минимальна. К чужим Чурик на ручки не шёл, злобно рычал, и украсть такую собачку никому бы не пришло в голову. Ходил он, как хозяин двора, монотонно дефилируя вдоль подъездов, иногда отбегая в зелёный скверик.

* * *

Через много лет, отслужив срочную, зашёл я навестить дядю Юру. Жена его Галя умерла, а сын рано обзавёлся семьёй и уехал. Дядя во второй раз женился, но это была скучная, вялая и занудливая тётка. Он стал пить запойно и превратился совсем в другого человека. Посидел я у них в знакомой квартире с совершенно теперь незнакомыми людьми. Поговорили минут тридцать...

Выхожу я из подъезда и вижу, как мимо меня по проезжей части бредёт знакомое существо. Чурик стал чрезвычайно седым, все его и без того кривые четыре ножки (знаю, что лапки) ещё и прихрамывали, язык из-за отсутствия зубов выпал набок. Пройдя мимо меня, он попытался бодрячком запрыгнуть на бордюр пешеходной дорожки, но сделать ему это удалось только со второй попытки. Зато, когда забрался, то уж очень взбодрился и побежал дальше эдакой змейкой – то влево, то вправо. Кидало Чурика в разные стороны. Видимо, жить ему оставалось совсем мало – неделю или месяц, впрочем, может, и год.

Было мне двадцать лет. И как-то я так неожиданно подумал, глядя на этого друга человечества, что вот юность-то моя, наверно, прошла совсем.

«Но ведь это ничего, впереди обязательно будет молодость, потом зрелость, и даст Бог – старость. Как же много ещё предстоит впереди... Как много!»

Так я тогда думал...

Он?

Только начался 1991-й год.

Цены убежали вперёд. Зарплата гналась за ними, как старая хромяя лошадка за новеньким задорным Феррари.

Год назад я ушёл от молодой жены, прожив с ней четыре года. И вот тут отпустили цены. Государство устранилось от своих доверчивых граждан, а новая моя любовь, подписав очень выгодный контракт, уплыла на громадном лайнере в кругосветное гастрольное путешествие.

Я остался в Москве один на один с громадным количеством конкурирующих в борьбе за жизнь жителей. Хочу напомнить всем завидующим и ненавидящим москвичей: в кризисы, на переломах истории, в разруху или во время вой-ны, гражданской особенно, – не приведи вам Господь жить в большом городе! Догадаетесь сами, почему?

Казалось бы, так мне и надо, ведь я сам ушёл от жены (детей не было), сам сделал выбор: куда и к кому уйти, сам выбрал работу, сам решил учиться на академического вокалиста, который сто лет никому не нужен в годы смятений. Всё сам, и во всём сам и виноват. Ну ещё, конечно, руководство в стране подкачало. Но к нему не пойдёшь, не пустят. А если и пустят, то сразу и прогонят, чтобы не гундел тут...

Да, так тебе и надо! Но всё-таки жаль парня – ведь человек и к тому же живой.

Я начал худеть. Сначала мне это даже нравилось. Но когда я стал подсчитывать, сколько я могу в месяц купить коробок спичек, соли, пачек масла, лука, хлеба и геркулеса, то оптимизм мой моментально улетучился.

Через три месяца я похудел на 16 килограммов и влез в старый костюм 46-го размера. А когда сдавал экзамен по вокалу, то после первой спетой фразы: «Скорбит душа», ноги мои затряслись так, будто я, исполняя торжественный монолог царя из оперы «Борис Годунов», вдруг захотел пуститься в пляс.

Выхода я не видел. Жизнь катилась вертикально в пропасть, на самое дно, наверно, туда, куда упала «маленькая жёлтая птичка» из известного кинофильма. Встречи и разговоры с друзьями и знакомыми ни к чему не приводили, у всех было не лучше, денег больше не становилось, и никакого просвета ждать было неоткуда.

И вот в один из самых безнадёжных дней я еду в метро. Народу немного, все сидят. Я тоже сижу и раз за разом читаю на противоположном от меня стекле вагона призыв: «Уступайте места инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам!», – и о чём-то своём думаю. Насколько я понимаю сейчас, это было время моего погружения в самую что ни на есть безнадёжную депрессию. Тянущее чувство где-то в районе солнечного сплетения уже не давало появиться аппетиту, голод приносил покой, а равнодушие и апатия волной накатывали всё чаще и продолжительней.

Проехал я несколько станций, и вдруг подходит ко мне пожилой мужчина, склоняется надо мной, и, глядя на меня в упор, говорит:

– Молодой человек, Вам очень плохо?

– Да нет, – отвечаю я, – не очень.

Он чуть помолчал, наверно, влез ко мне в душу, и мягко так вдруг сказал:

– У Вас глаза пощады просят...

Мы посмотрели друг на друга ещё чуть, и он добавил:

– У Вас всё будет хорошо, надо потерпеть...

И отошёл к дверям на выход.

Поезд остановился. Он вышел.

Я поехал дальше. Через несколько минут вышел и я.

Ничего вокруг не изменилось: мне не дали денег, не предложили перспективную работу, меня даже не погладили по голове. Но внутри меня загорелся какой-то маленький огонёк. Можно даже выразиться иначе: мне то ли подарили соломинку, за которую можно зацепиться, как за бревно, то ли вручили горчичное зёрнышко Веры.

День за днём по крохам становилось легче, что-то менялось к лучшему почти незаметно, как июльский ночной ветерок, а что-то оставалось без изменений. Но была уверенность, что ко мне тогда в вагоне приходил Он и повелел терпеть и жить дальше.

Через некоторое время я перестал худеть и в моей невеселой жизни появились входы и выходы, перспективы и но-

вые люди.

А вы как думаете – это был Он...?

Вот ведь...

Телефон не зазвонил, а завибрировал. Я его взял и нажал на зелёный кружок.

– Алло...

– Сыночек, это я, – слышу я мамину интонацию, но не её, а какой-то тоненький, жалобный голос.

– Да, мам... – говорю я от неожиданности бессильно и на выдохе.

– Где же ты, сыночек?

– Я здесь, мама – здесь! – уже сдерживая себя, чтобы не заорать, говорю я.

– Нееет, тебя здесь нет... Это неправда... Я каждый день смотрю, жду, а тебя всё нет, – жалуется она, как маленькая.

– Я здесь!!! – ору я во всё горло и рывком просыпаюсь...

Одышка утихла.

Беру телефон: 26 декабря 05.30 на часах.

Католическое Рождество. Мама 35 дней в реанимации в коме.

Сон, как явь.

Явь, как сон. Друзья, враги, знакомые, равнодушные и сочувствующие – все вперемешку.

Прицел сбит! С друзьями и близкими ругаюсь и порчу отношения, в посторонних пытаюсь найти поддержку. Заглянул в Фейсбук. Там грустный текст в блоге фейсбучной

подруги-журналиста. У неё тоже – не очень... Посочувствовал. Прочитал смешную миниатюру Лейлы Рахматовой, и на душе как-то вдруг полегчало. Задорно и остроумно пишет эта талантливая женщина! Лайкнул... Стало ещё чуть легче, и даже, наверно, уснул. Спасибо тебе, Лейла!

Всё же полезная придумка – этот Фейсбук!

Актриса

Было это давно, но не очень...

У детского театра при общеобразовательной школе в Алтуфьево случился 20-летний юбилей. На празднование этого знаменательного события попросили они меня пригласить и привезти звезду. Но не фальшивую «звезду», коих сейчас называют таковыми, а настоящую, потому и написал первый раз без кавычек. Обсудили... Все сошлись на Ирине Муравьевой. Я лично её не знал, но мог получить достойную рекомендацию, телефон и попробовать пригласить. Так я и сделал.

Ирина Вадимовна была настроена позитивно и согласилась. Подтвердили дату, время. Проговорили, что споёт, что скажет...

Настал означенный день.

Я сам за рулём на машине приехал за ней к подъезду дома на Кутузовском. Время рассчитали с запасом на пробки. Актриса вышла, я поздоровался и, представившись, открыл дверь. Она разместилась. Тронулись.

Отъехав от дома метров пятьсот, я вдруг вспомнил свой ночной кошмарный сон. Он был такой яркий и эмоциональный, что меня, внезапно его вспомнившего, потянуло именно с этого и начать разговор:

– Ирина Вадимовна, мне сегодня приснился такой страш-

ный сон, что я даже не знаю, к чему его отнести и как расшифровать?...

– И что же Вам приснилось? – вежливо уточнила актриса.

Отступить было поздно, и я выпалил всё как на духу:

– Мне приснилось, что я на концерте вышел на сцену, начинаю петь, а все смотрят не на меня, в смысле, не в глаза мне, а ниже... Ниже пояса... И смотрят недоумённо. Я продолжаю извлекать из диафрагмы фразу за фразой: легато, пиано, форте, фермата и тому подобное – должной реакции нет! Все, как прежде, смотрят ниже и, переглядываясь, удивляются. Ну, наконец, я и сам опускаю взгляд... И что же?! У меня на чёрных брюках смокинга совершенно расстёгнута ширинка, и из неё торчит нижняя часть белой концертной рубашки! Я сразу проснулся, и проснулся в панике и диком смущении... Вот такой сон! К чему бы это?

Всю эту околесицу, сидя за рулём, единым залпом я несу актрисе, едва познакомившись с ней, сам не зная почему, вот так – вдруг и безо всякого повода?!

И тут правым ухом я слышу сначала шёпот, потом крик:

– Стоооп... Остановите машину!

Я останавливаюсь, очевидно, понимая, что меня приняли за маньяка и сейчас произойдет побег известной актрисы из машины: она помчится, не оглядываясь, домой, в подъезд, в квартиру, за дверь и долго будет дрожать, ожидая погони. А чуть позже вся страна узнает про Алтуфьевского маньяка, которого удалось изловить и изолировать, благодаря беспри-

мерной бдительности народной артистки, ну и, конечно, нашей доблестной полиции.

Пауза. Ирина Вадимовна, замерев, растерянно и одновременно пристально поглядела мне в глаза, будто о чём-то догадавшись, и тревожным голосом категорично заявила:

– Через сто метров разворот! Разворачивайтесь, едем обратно, ближе к дому!

«Всё, – подумал я, – если я и не маньяк, то выступать уж точно не будет!»

И тут она скороговоркой пояснила:

– Я забыла минусовую фонограмму! Как петь-то?!

«Фууу-ф! И всего-то! Боже мой!» – радостно возликовало моё утро.

Развернулись, подъехали к соседнему двору (ближе перекрыто). Ирина Вадимовна позвонила мужу и объяснила, что сейчас придёт молодой человек (это я) и что ему надо передать диск.

– Я на каблуках, а Вы бегите скорей, а то опоздаем! Только на него (мужа) пристально не смотрите – у него ячмень на глазу вылез, и он очень стесняется.

Всё так и произошло: Леонид Данилович выдал мне диск, и я убежал. Ячменя не увидел, правда, как и просили, не присматривался.

Трогательно это было – с ячменём. Вот так, в такие моменты настоящие отношения двух близких людей, наверно, и становятся очевидны постороннему случайному свидетелю.

лю.

Ехали мы очень долго, часа три. Пробки. Актриса на третьем часу начала периодически сползать с пассажирского кресла вниз и закатывать глаза. А я ей бурчу: «Вы в Бога веруете... православная... воцерковлённая... – это Вам испытание, терпите!» – говорил я хоть и весело, но обречённо, ведь взлететь над потоком машин было невозможно...

Приехали прямо к началу.

Сразу на сцену. Актриса, очевидно, переживала за своё выступление. Но всё прошло замечательно. Не помню точно, о чём она говорила переполненному залу с подростками, вроде что-то про слонов больших и маленьких. Это была притча, смысл которой теперь уж я и не припомню. А затем – песня.

За кулисами чай с пирожками – и обратно в путь.

Доехали в два раза быстрее. Очень много говорили. Занятно всё это... Повезло мне познакомиться и лично узнать интересного человека!

Как она мой сон-то «считала» – а?! Настоящая актриса! Её приёмная телепатическая антенна – от Бога!

Через год ещё раз, но уж совсем коротко виделись на торжественном мероприятии в парке Победы на Поклонной горе.

Но интересной для меня была, конечно, та – первая встреча...

Офыбка

Нам было тогда лет по двадцать семь. У моего друга-одноклассника умер отец. Я давно знал покойного и потому был приглашён на похороны и поминки. Похороны прошли очень достойно. Была, правда, небольшая заминка при заколачивании крышки гроба... Папа был высокого роста и по смерти ещё изрядно прибавил. Оказывается, покойники увеличивают свой рост сантиметров на пять-десять. Так что, когда случится вам, не дай Бог, кого хоронить, не оплошайте и заказывайте гроб подлиннее прижизненного размера усопшего. Тут ещё и на него надели модельные туфли на каблуках. Вот ноги и не полезли. Стали втискивать силой, так голова высунулась за бортик. Пришлось в коленях подогнуть, да так – к ангелам, в смысле, под землю и отправить. Нет, неправильно написал: тело отправили под землю, а душа-то, наверно, улетела в сопровождении ангелов.

После похорон приехали поминать домой. Человек двадцать. Стол накрыт. Покурили и сели кушать. За столом, кроме двоих сыновей и вдовы, присутствовали друзья покойного, сподвижники (папа был художник), родственники и я. Рядом со мной и оказался один из родственников. Это был солидного вида дядечка лет пятидесяти в торжественном костюме, на лацкане пиджака которого висел значок Депутата Верховного Совета РСФСР.

Прозвучал короткий поминальный тост. Молча выпили. Ткнули вилками, куснули. Второй короткий тост... Выпили, ткнули, куснули... Молчим, жуём... Как-то неловко. Водка ещё не «забрала», да и вообще тяжело на сердце. И тут депутат в образовавшейся паузе как бы мне, но этак довольно громко и поставленным голосом, который все сразу услышали, тыкая вилкой в направлении блюда, и говорит: «Селёдка на поминальном столе – это офыбка...» И так он это важно и со знанием заявил, что никто хоть и не понял, что за слово было в конце фразы, но все сразу как-то передёрнулись и стали глазеть друг на друга, ища разъяснения. Я осмелел первым, наверно, из-за того, что обратились вроде ко мне – я ж рядом сидел, да и был самый молодой... Итак, я набрал в лёгкие воздух и робко спросил, в конце вопроса уходя на фальцет:

– Штооо?

– Селёдка на поминках – офыбка, – повторил ещё более категорично важный гость.

– Ой! – первой догадалась и беспокожно вскинулась вдова. Она, поспешно встав из-за стола, скоро подошла к другому его краю, где и стояла та самая «ОФЫБКА», и уж было хотела вовсе утащить блюдо с селёдкой куда-нибудь на кухню с глаз долой, будто от селёдки на столе зависело, попадёт ли её новопреставленный супруг в нужные ворота где-то там – далеко за облаками и, может, даже гораздо выше, ну уж точно – не ниже, нежели вход в двери Верховного Со-

вета РСФСР. Но тут гость по-доброму и даже с некой достойной снисходительностью остановил женщину и твёрдо заявил своё непоколебимое «нет»: – Нет, нет, нет – не надо! Пусть уж стоит – не страшно! Оказалось, что он напрочь не выговаривает букву «Ш» и совершенно этого не смущается и даже как бы напротив... Ну не страшно, так не страшно. Тем более, что я и ещё пара человек уже съели по кусочку этой неподобающей случаю селёдки. И вроде ничего...

Тут всех сразу отпустило, и поминки покатались дальше как по маслу. Последовал третий душевный тост от одного из художников, затем официальный от самого противника селёдки, далее от детей и остальных родственников. Я тоже сказал что-то. Мой сосед между тостами в задумчивости ещё несколько раз пробурчал про ошибку, но его уже никто не слушал. Одним словом, поминками все остались очень довольны.

Примерно через двадцать лет, будучи в гостях на очередном дне рождения всё у того же моего одноклассника, я спросил, помнит ли он тот случай на поминках, и как поживает его высокопоставленный родственник? – Да, ты знаешь, – улыбнулся мой друг, – недавно умер его почти столетний отец, и мы с матерью были на похоронах. Так вот на столе, кроме прочего, стояли блюда с селёдкой, и все гости трескали её за обе щеки. И сам депутат трескал! И ни про какую ошибку даже не заикался.

В строю и вне... Самый счастливый день

Это было 2 декабря в пятницу.

До дембеля оставалось пять месяцев.

«Рота, подъём!» – прозвучала ненавистная команда.

«Как же так, я не услышал предварительного оповещения приготовиться к подъему?»

Я вскочил и в кальсонах побежал в туалет, но на полпути увидел, что рота уже стоит в строю. Все одеты... Что за чёрт?!

Побежал обратно одеваться.

Через минуту выбегаю уже по форме и в строй. Перед строем меня останавливает Серёга Жалнин, берёт за руку и ставит рядом с собой. Сергей рядовой «старик», как и я... И чего это он?! Спросонок, ничего не понимая, встаю с ним перед строем. Где офицеры и сверхсрочник старшина?! Куда они все подевались? И тут он давай командовать всей ротой:

– Рраавняйся! СмиирррнО!

Рравнение на середину! – поворачивается ко мне и отдаёт рапорт:

– Рядовой Тулупов, весь личный состав роты поздравляет Вас с днём рождения и желает здоровья и скорейшего дем-

беля! Ура!!

И все сто человек как заорут:

– Уррааа! Уррааа!! Уррааа!!!

– Вольно, разойтись! – скомандовал Сергей. И тут все бросились меня поздравлять, хлопать по спине, плечам, обнимать и пожимать руки.

А ведь я совершенно забыл про свой день рождения! Совершенно! Ещё и спросонья...

Все были так расположены, так доброжелательны и при этом так искренни!

Подошёл «салага» рядовой Толик Автономов из-под Тулы и сказал этак изумлённо:

– А я думал, что ты только год отслужил или даже меньше...

Это он так решил потому, что я, став «стариком» и будучи в наряде дежурным или дневальным по роте, всегда сам брался мыть сортир, кабинки с «очком», раковины и пол. Одним словом, самую грязную, неприятную и даже унижительную работу. Таковой она ощущалась особенно для «салага». К тому же над ними часто подсмеивались. А в моё дежурство никто даже плюнуть бы на пол не посмел, да и сходить мимо унитаза тоже. Сердитый я был для своих. Убраться же мне было несложно, а молодых избавляло от унижительной процедуры. И без того они после гражданской домашней жизни ходили гнобимые, подавленные, да ещё и лысые.

Весь день я был под впечатлением утреннего события. Все мне при встрече улыбались, разделяя мою радость. И, когда после отбоя лег в койку, то никак не мог уснуть и тоже всё улыбался, как Юрий Деточкин после спектакля, когда он ехал в окружении милиционеров в КПЗ. И подумал тогда: «Как же хорошо жить! Никогда не забуду этот день!»

И ведь не забыл.

Армейская жизнь и события того времени – это отдельная тема. Там, наверно, есть на что опереться, и, может, даже случится так, что именно те «луковки» позволят мне достойно предстать перед райскими вратами и перевесят все обиды, которые я часто, вольно или невольно, наношу своим самым любимым и близким людям.

В строю и вне... Ещё один самый счастливый день...

Не знаю, как сейчас, но в советское время в армии в столовой было так...

Мы заходили в зал всей ротой, вставали с обеих сторон к длинным столам и ждали команду: «Садись!» Если садились на скамейки не одновременно или старшина был просто не в духе, то звучала команда: «Отставить!» И затем снова: «Садись!» Иной раз до семи приседаний доходило, а то и более...

За каждый стол садились десять человек. Рассаживались так: во главе два-три «старика»; далее – отслужившие год и более, которых называли «шнурки» или «черпаки»; ну, и в самом конце пара-тройка «молодых» или «зелёных». Котелок с едой стоял возле «молодых» и один из них раскладывал её по тарелкам. Распределял он таким образом, что куски мяса доставались сначала «старикам», затем «шнуркам» и уж после «молодым». Белый хлеб и масло тоже сразу передавались «старикам», они забирали самые толстые горбушки, и тарелка отправлялась дальше. С сахаром было всё то же... Часто в конце стола почти не оставалось ни мяса, ни хлеба, ни сахара. И никому не было никакого дела до того, как-то там недоевший первогодка будет весь день ноги тас-

кать?

Учитывая, что ближе к весне кормили в основном «кирзой» (так называли перловку) да квашеной капустой, то «зеленке» становилось совсем грустно.

И тут я, с Вашего разрешения, немного отвлекусь...

Помню, только прибыли мы из «учебки», буквально, в один из первых же субботних парко-хозяйственных дней нас отправили солить и квасить капусту. Там в огромном ангаре мы должны были резать кочаны свежей капусты на крупные части и бросать их в ёмкость, обложенную кафелем, похожую на небольшой бассейн размером четыре на четыре и глубиной метра в три. Сначала капустой покрыли дно. Затем посолили, вскрывая и высыпая несколько пачек с крупной солью на образовавшийся слой. Дальше было самое интересное... Нам каждому ещё перед началом работ выдали резиновые сапоги. Надев их, надо было прыгнуть вниз чана и что есть силы толочь ногами эту самую капусту. Но если прыгнуть всем, а нас было пять человек, то как же потом оттуда выбираться и готовить новую порцию? Наконец, благодаря смекалке старшего, и, соответственно, более опытного старослужащего, назначенного нами командовать, додумались мы до того, что спрыгнуть должны двое, а трое будут им туда сверху заготовки кидать. И так совместными усилиями поднимать утрамбованные слои капусты до самых краёв чана. Таким образом, предполагалось, что топтуны вместе с капустой тоже приподнимутся и в конце концов вылезут.

Не помню, откуда появлялась капуста. То ли она лежала там, в ангаре, гуртом, то ли её нам подносили в корзинах, но суть не в этом. Суть в том, что через час все замудохались чуть не до смерти, а чан не заполнился даже на четверть. Особенно устали те, которые пошли в забой. У них там внизу через полчаса ноги сначала стали ватными, а потом и вообще окаменели, и воины очень пожалели о своем погружении в капустный бассейн. Они отчётливо поняли, что сильно перегорелись, когда первое время почём зря молотили ногами, превращая капусту в кашу. Мы, в том числе и я, которые сверху – тоже не лошади: подносить, резать да забрасывать в чан. Стало ясно, что дело «швах»: сучить ногами надо реже и капусту резать крупнее, иначе ребят не спасти, и останутся они дальше жить да служить в соленой капусте собственного приготовления.

Прошло ещё немало времени, и треть чана мы накидали. Тут один из наших – верхних – который «старик» и начальник, заявил, что пойдет вниз к товарищам, и что он, оказывается, знает, как надо солить и давить, так как этим с успехом занимался на гражданке, где-то там у себя, работая в колхозе. Он и действительно, бодро спрыгнув вниз, начал давить кочаны, пританцовывая, будто Адриано Челентано, который подобным образом мял виноград в каком-то там итальянском фильме.

Но знаток и передовик-колхозник как-то очень быстро выдохся, перестал плясать, остановился, задумался, взгляд

его на секунду остекленел, он вдруг засуетился, завертелся, быстро расстегнул ширинку и начал ссать прямо в капусту. Мы – двое, оставшиеся сверху, – гневно возмутились и заорали, мол, ты с ума сошел, ведь сами зимой жрать всё это будем! Совсем, что ли опупел! Он же, ничуть не удивившись, заявил, что мы ничего не понимаем, и разницы никакой нет между тем, что в пачке с солью и тем, что в его струе: оно, хоть и несколько иное, однако тоже – соль! Но самое жуткое случилось следом... Те двое нижних, что прежде уработались и остолбенели, вдруг тоже свои хозяйства подоставали и повторили действия старшего знатока производства. Он, видимо, открыл их морально–физиологические крантики, после чего хлопчики и привнесли в процесс квашения свой неповторимый специфический букет. Была у меня и ещё одна, но уже строго медицинская, версия произошедшего. Она заключалась в том, что они там – в чане – нанюхались испарений капустного сока с солью, и в их мозгах произошёл тот же эффект, что и у граждан, сующих головы в целлофановые пакеты и вдыхающих там ядовитый толуоловый клей марки «Момент».

Неумолимо подступало время обеда. Мы неистово подносили, резали, солили и топтали. К обеду успели наполнить гораздо больше половины чана и вытащить наверх обессиленных товарищей.

И вот позже каждый раз, когда в столовке давали квашеную капусту, я маялся сомнениями: уж не из того ли самого

бассейна принесли нам покушать?

Но вновь продолжим наше основное повествование, не ради же капусты я затеял тут целый рассказ писать...

Нас было четверо...

Мой друг Генка Анисифоров – одного со мной призыва. спокойный, выдержанный, среднего роста, черноволосый и коренастый русский татарин из-под Казани с резким прижатым голосом. Он тогда был очень похож на актера Николсона в молодости, такая же демоническая внешность: почти прозрачные под нависшим лбом серые глаза и сам взгляд – чрезвычайно жёсткий и даже пугающий. До армии он занимался штангой, ничего из литературы не читал, жил сам себе на радость, активно встречался с женщинами и в этом плане казался продвинутым, но в роте о своих интимных отношениях предпочитал лишнего не болтать. Генка обладал острым природным умом. Я поражался точности его восприятия в оценке людей, способности к ситуационному юмору, умению себя достойно держать с офицерами и «стариками», и главное – это его внутренняя порядочность во всём.

Мы оба сошлись на том, что «стариковать» и унижать «зелёнку» – занятие недостойное, и когда сами станем «дедами», то откажем себе в этом сомнительном удовольствии.

К нам сразу примкнул и полностью разделил эту тему Сережа Власов из Свердловска (ныне – Екатеринбург). Сергей – блондин с большими залысинами на лбу, интеллигентный и тихий молодой человек, скорее, напоминал какого-то

мыслителя, нежели рядового советской армии. Говорил он негромко, как бы сам себе, но при этом смотрел прямо в глаза собеседнику, был хоть и мягок, но тверд (такое противоречие иногда бывает), матом совершенно не ругался, вывести его из равновесия было практически невозможно. Только мы с ним во всей роте не делали дембельского альбома и не перешивали форму, готовясь к выходу в гражданскую жизнь. Наше общее понимание всего вокруг происходящего казалось совершенно естественным и неудивительным.

Через месяц после начала большого эксперимента наши действия поддержал ещё один «старик» – Сергей Антропов. Меня с ним связывала одна интересная тема... Вот ведь странно устроена человеческая то ли логика, то ли психика! Как вы сможете прочесть в конце рассказа, моя фамилия – Тулупов. Ракетными войсками стратегического назначения, где я служил, командовал тогда генерал армии В. Ф. Толубко. Раз в месяц ко мне кто-либо из сослуживцев подходил и с загадочным выражением лица тихо спрашивал:

– А Толубко, случайно, не твой родственник?

– Нет, не мой, – с завидным постоянством, как дятел, повторял я, – он же Толубко, а я – Тулупов.

– Не, ну, может, какой дальний родственник? – продолжая надеяться, допытывался вопрошающий.

И самое интересное, что в вопросах никогда не было никакой иронии или сарказма – всё с широко раскрытыми глазами и последующим разочарованием.

К Сергею Антропову подходили ещё более почтительно, ведь там родственником мог оказаться сам Председатель КГБ СССР Ю. В. Андропов. Да и буква менялась всего одна... И разочарование у интересующегося было сильнее, нежели в моём случае.

Но к делу! Что же за тема такая появилась у нас, а точнее, у меня в последний отрезок службы? Один бы я никогда не воплотил этой идеи в жизнь – сожрали бы свои же «деды». Они и так чуть позже пытались развернуть нас в русло «славных» традиций армейской дедовщины. Но Генка зыркнул исподлобья, я что-то злобно прорычал, Сережа тоже твердо выдвинул свой тихий, но разумный аргумент, и от нас отстали.

Суть в том, что удумал я распределять еду за столом, начиная с молодых, в расчете на их сознательность и чувство врождённой справедливости, которое, как искра Божья или Святой Дух (называйте, как вам удобней и ближе), всегда с нами и в нас от самого рождения и до смерти. Хоть Евангелие я тогда ещё и не читал, но почувствовал как-то, что именно так будет справедливо и правильно. И загорелся я этой идеей, и поделился ею, и приняли её тогда друзья мои очень близко к сердцу.

Конечно, дедовщина сильно привлекательна не только отслужившим большую часть срока как возможность сачкаться и самоутвердиться, но и – а это, наверное, самое главное – удобна она и привлекательна офицерам, которые могут в своё отсутствие оставлять внутреннее управление в во-

инском коллективе на самотёк в расчете на сложившееся иерархическое устройство. Всё бы оно ничего, ведь и, действительно, прослуживший дольше, хоть и не на много, – старше и опытнее, и, конечно, ему бы помогать офицерам в управлении, обучая молодняк, если бы, однако, очевидно благая цель извращённо на каждом шагу не подменялась на откровенные издевательства и унижения... Что может правильно понимать молодой девятнадцатилетний парень в отношении такого же, как он сам, который всего-то на один год младше его самого? Да почти ничего! Превалирует только одно – желание сатисфакции за предшествующее годичное подчинение с унижениями. Конечно, были и «старики» над нами, которые именно подсказывали и учили. Но и они шли в общем потоке таких взаимоотношений, которые обижают любого нормального человека, не смея либо не желая нарушить сложившиеся устои.

Здесь я бы хотел ввести одно объяснение...

Среди служащих срочников, как, впрочем, и в любом коллективе, где существуют иерархические отношения, случаются такие экземпляры, которых невозможно не унижить. Они настолько готовы моментально и при малейшей опасности или давлении подставить вам свой зад, что соблазн дать по нему коленом преодолеть почти невозможно. Если только брезгливо не отвернуться и с досады не плюнуть на пол. Этот тип людей, существовавший во всех народах всех стран и во все времена, названный мизерабль (отверженный), прекрас-

но известен. Хотя и среди них, если следовать сочувствующему им Виктору Гюго, есть граждане, достойные уважения. Впрочем, не о них здесь речь: ни о тех, кому сочувствовал великий писатель, ни тем более о тех, кто даже и его сочувствия не удостоился. Мы говорим о психически нормальных людях, которых пыталась сломать порочная армейская система. И это, заметьте, не касается необходимого воспитания у молодых и порой избалованных ребят, уважения к любому труду, чувства ответственности за порученное дело, навыкам самообслуживания и социализации. Да и ещё много чего необходимого, что насильно и жестко прививает армейская жизнь во благо!

Итак, мы втроём всё обговорили и твёрдо решили, как я уже написал выше, организовать такой стол, где распределение происходит с другого края, то есть с молодёжной его части. Туда же поставили кроме котелка белый хлеб и сахар. В первый опытный день мы, «старики» – организаторы, были все в сборе, заняв свои места во главе стола. Эксперимент начался неожиданно для всех, кроме нас. Перед молодыми поставили котелок, хлеб и сахар. Распределять должны были они сами. Мы пассивно сидели и ждали своей оставшейся доли. Через минуту, когда молодые всё распределили, то оказалось, что мы трое остались без сахара, хлеба и мяса вовсе. «Черпаки» въехали сразу и взяли себе меру, как обычно. А вот самые юные расхватили всё с переизбытком. «Черпаки» заржали в голос. И тут «зелёнки» наконец смек-

нули и, краснея, стали перераспределять по новой. В итоге поделились справедливо, и нам досталось приблизительно столько, сколько и всем остальным. Довольны оказались все: мы – тем, что эксперимент удался; «молодые» – что наелись не меньше остальных; а «черпаки» стали свидетелями того, чего ещё никогда не видели.

Было так до самого нашего дембеля. Вскоре о том прознали все. «Молодые» образовали очередь побывать за чудесным столом. Мы, конечно, не всегда сидели во главе вчетвером или втроём, иногда кто-то из нас оставался даже и один. Но «черпаки», следуя новой традиции, делились, как старики. Офицеры знали, но никак не реагировали.

Я дембельнулся в начале мая. Отгулял положенные три отпускных месяца и с августа устроился на работу.

В ноябре раздался телефонный звонок, и я услышал знакомый голос Толика – одного из бывших «черпаков».

– Александр, привет! У нас дембель! Первую часть призыва отпустили сегодня! Саша, можно мы все приедем к тебе домой и отметим?!

– Конечно, приезжайте! На банкет не рассчитывайте, но закусить куплю. Только, чур, не нажираться. Пузырь на троих и не больше!

– Водки мы сами по дороге немного купим... Всем же потом транзитом через Москву и дальше, кому куда.

– Сколько вас?

– Двенадцать человек.

Жили мы с мамой вдвоём в трёхкомнатной квартире, и развернуться было где. Мама работала до самого вечера, а у меня был выходной, и, будучи совершенно свободным, пошёл я в кулинарию, купил там сколько было полтавских котлет, квашеной капусты, варёной картошки и в магазине «Морозко» фасолевого стручка. Ну и, может, чего-то ещё, уж и не помню.

Отварил, поджарил. Приехали, выпили, закусили...

Все ко мне относились с почтением, будто я какой--нибудь Мао Цзэдун, или Ким Ир Сен, или даже Хо Ши Мин, что меня несколько смущало и удивляло. «Ну, понятно, – решил я про себя, – я же хозяин, и они у меня в гостях...»

Среди торжества, а это был фуршет, и все стояли, так как стульев было мало, решили выпить за меня.

И тут выяснилось, что ребята продолжили нашу традицию, и льготных столов для «молодых» стало аж три!!!

Я чуть не расплакался...

И это был ещё один «самый счастливый день...» в моей жизни.

Берёза

– Саш, спилил бы ты её, пока тонкая.

– Хорошо, спилю... потом. Завтра спилю.

Бабушка мне не поверила.

– Ведь забудешь, а там корнями избу подымет.

Березка выросла совсем незаметно и как-то сзади из-под дома. Вдруг взяла и вылезла. Почему на неё пару лет не обращали внимания, даже и не знаю... Я был в армии, а остальным, видимо, и дела никакого не было.

Прошёл день, неделя, месяц. Бабушка не напоминала, да и я то вспомню, то забуду.

В конце августа возвращаться в Москву. Подхожу к бабушке и говорю:

– Ну чего, березу-то пилить?

– Нет, не надо. Не трогай. Почитай метра два уже. Пусть растёт, коли так. Всё память...

Подошли мы к ней, постояли, посмотрели на кривенькую...

И оставили.

Бабушка умерла через два месяца в конце октября. Да и все, кто жил в том доме, теперь уже умерли. Вот и мама в этом году...

Бревенчатый дом давно завалился, и его разобрали. Я же тут каждое лето живу в доме, который построили возле. На

месте старой избы вырыли колодец. С мамой так решили: колодец на месте прежнего дома.

А берёза у меня уже много лет перед глазами. Она, наверно, с пятиэтажку. Большая такая! Ствол остался немного под наклоном, его теперь и не обхватить. Птички и коты её очень любят. Ну и я – смотреть, как она растёт.

В лесу

Встретились мы в больнице, в кардиологическом отделении на плановом, но достаточно сложном диагностическом обследовании, которое называется коронарография. Лежали в одной палате. У меня не так давно случился инфаркт и у него тоже. Он постарше и на пенсии, мне чуть за пятьдесят, остальные – его ровесники. Подготовка к процедуре, а также и она сама, включая период последующего восстановления, занимает дней пять. За это время можно успеть не только познакомиться с лежащими по соседству, но и подружиться с теми, кто окажется близок и по духу, и по душе. Вот мы и познакомились, и разговорились. И рассказал он нам свою интересную историю о том, как приключилась с ним эта болезнь тогда, ещё несколько лет назад. Передаю я её по памяти, может, и ошибусь в мелочах, ведь время прошло, но главное помню точно...

Почти всё лето мы с женой живём в глухомани: в малюсенькой деревне на опушке огромного дремучего леса. До асфальта почти десять километров бездорожья. Ни магазинов, ни аптеки, ни нормальной связи, ничегошеньки. Случись потоп, пожар или помирать кому, так ни одна транспортная не доберётся: ни скорая, ни пожарная.

И тут оно так почти и сложилось. С каждой минутой становилось всё хуже. То ли изжога, то ли лопнуло что-то внут-

ри посреди груди... И одышка не уходит, и глубокого вдоха не хватает, и двух подряд тоже, и с трёх не надышаться... Пробовал лечь на спину, на бок, на другой – всё не то... Вскочил в панике! Плохо, тревожно и непонятно. Что это?!

Жена подошла. Посидела рядом с минуту... И пошла в огород что-то там полоть.

А ты тут оставайся один. Мы все и всегда остаемся одни. Или почти одни... И ещё Она – костлявая.

Он взглянул куда-то мимо нас в крашеную больничную стену, а, может, и даже чуть дальше, будто припоминая ту самую костлявую морду. Но не сбился и продолжил...

Кто же знал, что нельзя корчевать старые пни в жару! Нет, знал, конечно! Но раньше всё сходило с рук. Когда в юности бежал, пытаясь догнать в забеге и стать первым. Всегда, когда охватывало желание борьбы до победы, терял чувство меры и не замечал наступления предела. Увлекался, будто от результата забега зависела не только вся своя дальнейшая судьба, но и жизнь всей страны. Почему прирожденные спортсмены, как добившиеся больших результатов, так и не добившиеся таковых, мало живут? Полагаю, это Дух борьбы! Его проделки... Он помогает выигрывать или продолжать активно бороться, но и он сам может однажды вас разом прикончить.

Давно все забеги в прошлом, да и соревноваться негде и не с кем. И тут невольно начинаешь придумывать конкурентов везде и во всём. Сегодня это были пни и корни. Их надо бы-

ло выдрать из земли десятикилограммовым ломом. У душистой черёмухи очень разветвлённая корневая система. Кустарник, превратившись в дерево, становится угрозой всем растениям в вашем саду. Его корни, прорастая под землёй на десять, пятнадцать и более метров, будто спрут, опутывают яблоню, вишню, рябину, сливу или что угодно и душат, поглощая и отбирая у более нежного конкурента жизнь. Садовое дерево или кустарник засыхает, а черемуха продолжает радостно разветвляться и плодиться по всему садово-огородному простору. Если вы срубили это злостное растение, когда оно уже большое дерево, то не вздумайте его пустить на дрова. Черемуха при сгорании выделяет слезоточивый газ, в честь которого и назвали тот самый препарат для борьбы со свободолобивыми или буйными демонстрантами. Сажайте лучше сирень.

Но я увлекся и отошёл от основной темы повествования. А ведь так далеко уходить в сторону нельзя! Можно вмиг лишиться слушателя терпения и самому потерять нить рассказа.

Прошло часа три, а легче не становилось. И тут стало уж совсем худо. Появилось какое-то чувство надвигающегося предела... Сейчас, вот-вот что-то должно случиться! Встал и на деревянных ногах из последних сил пошел в туалет, будто там спасение... Успел только крикнуть: «Нашатырь!!»

Бухнулся на унитаза, но сидеть не смог. Сложился туловищем пополам на колени, туда же упала голова. Всё – сейчас умру... Жена принесла нашатырь, но он не помогает... Или

помогает? Сознание есть, но жить – сил нет.

Рубашка за какие-то пять минут сделалась насквозь мокрая, с лица пот, ну прям ручьем. И далее, через полное обнуление к чудесному воскресению...

Если вы думаете, что я только вспотел, то ошибаетесь. пролилось изо всех мыслимых отверстий – хорошо ещё, что всё происходило в санузле.

Но вот – ожил... Тело вернулось к жизни, разум просветлел. Позвонили в скорую, ведь не ровен час, может всё и повториться.

Скорая заблудилась, созванивались с водителем раз пять. Приехали через шесть часов после вызова и глубоко затемно. Встретили, как родных. Фельдшер, мужчина средних лет, спросил про симптомы, приставил портативный аппарат и снял кардиограмму. Через минуту объявил, что есть подозрение на инфаркт и сделал какой-то обезболивающий укол. Непонятно зачем, когда боль давно прошла и даже хотелось шутить и иронизировать. Приказали собираться в больницу, мол, там разберутся точнее, и к тому же нынешние сутки, на счастье, дежурит кардиолог. Водитель скорой, а это была родная «буханка», только с полосой по бокам и красным крестиком в фонаре над лобовым стеклом, обратно ехать в полной тьме оробел. Пришлось влезть в мою Витару и быть предводителем нашего каравана из двух автомашин. До районной больницы километров тридцать. Приехали. Город древний, старая больница недавно перестроена и теперь

почти новая. В приемном покое пожилая, та самая обещанная дежурная врач-кардиолог с лицом и голосом надзирателя в женской тюрьме (точно не знаю, но, наверно, они там такие). Фельдшер ей про симптомы, кардиограмму и инфаркт, а она ему сквозь зубы, тихо и злобно, будто желая удавить:

– Ты зачем его сюда привез?! – он ей в ответ с потерянным видом и дрожащим голосом:

– Так, вроде, все симптомы... и кардиограмма...

Она:

– Ты зачем сюда его привез?!

Теперь и она сама стала делать кардиограмму на портативный аппарат. Смотрит на график...

Вердикт: ничего нет – всё хорошо.

– Езжайте к себе в Москву... Знаете, какая у нас здесь очередь в Тулу на обследование стоит?! А у вас там всё по ОМС и без всякой очереди.

И снова фельдшеру змеиным шёпотом:

– Ты чего его сюда привез!

Честно говоря, я ей тогда поверил. Взял листочек с кардиограммой, сел в машину и отправился обратно в деревню, в заповедник.

Две недели я пытался хоть как-то прийти в себя и брался то пилить брёвна, то колоть дрова, то ходить с бензокобой стричь травку и даже отжимался (уж больно хотелось снять какой-то зажим в груди), но быстро уставал. Появлялась одышка, тяжесть в груди и возникало предчувствие ре-

цидива. Я был совершенно подавлен. Жена на меня смотрела, как на симулянта, и разговаривала пренебрежительно, видимо, оправдывая такое отношение желанием взбодрить меня, что ли... Я же постоянно просил её понизить тон и не заводиться, но раз за разом всё повторялось: она меня задевала, я срывался.

И вот как-то в очередной раз она съязвила, сказав что-то неприятное и резкое, а я хоть и без сил, но заорал в ответ на уровень громче... И тут, будто добившись своего, она сразу умолкла и где-то растворилась: то ли на участке, то ли в доме.

Я же, вконец измотавшись за две недели решил, что жить мне больше нет никакой возможности и надо просто уйти подальше в лес, а уж там, пройдя ручьи и овраги, выбившись из последних сил и желаний, как какому-то дикому животному упасть, где придётся и сдохнуть. Пусть потом ищут... А как ещё? Нельзя же, вот так, как во все прошедшие дни, едва шевеля копытами, жить дальше?!

И ведь пошёл...

И ведь, хотя едва ногами от слабости перебираю, как пьяный в бреду, но, однако, бреду. Телефон с собой не взял, воды не взял. Ничего не взял. Иду смертушку свою повстречать: открыт, прям и ясен перед грядущей судьбою своей.

Прошёл я по тяжёлому смешанному лесу километра три. Всё, как и мечтал: иду через ручьи и овраги, иду и иду. Заказник там у нас: деревень и людей нет ни в одну сторону.

Часа полтора уже брожу. Дорожки сменились тропинками, тропинки тоже рассосались, и только бурелом да кустарник вперемешку с молодыми деревцами. Пора бы и начинать помирать... Но что-то, как, бывало, обречённо в задумчивости отвечала моя прабабушка на вопрос о её здоровье: «Не даёт Бог смерти, не даёт...»

Чем дальше я ходил–бродил, тем меньше шансов мне оставалось умереть. Сердце по-прежнему стучало, одышка была умеренной, ноги шли и шли. Вроде, даже полегчало на третьем часу...

Ну и чего?

Походил я ещё с полчаса, да и повернул домой. Перед подходом к деревне так и вовсе стало веселей, и я почти побегал.

Вернулся, как и ушёл, огородом через калитку на задах, которая в лес. Прошло часа четыре. Моего отсутствия даже не заметили, словом не обмолвились. Будто и нет меня. Прошёл я в дом, лёг на диван. Опять стало как-то нехорошо. И подумалось тогда: «Никогда я на ней не женюсь! И даже, более того, сбегу при первой возможности, если, конечно, выживу».

Мы тут в палате дружно подивились на последнее его заявление и спросили нашего рассказчика:

– Так ты ж говорил, что она жена?!

– Да, – говорит, – жена, только гражданская. Да теперь, может, она и сама не захочет.

И продолжил...

Спустя неделю приехал в Москву. Мне всё хуже. Записался к терапевту. Попал к нему через три дня. Терапевт назначил сделать и записал на электрокардиограмму. Прошло ещё пять дней.

Пришел. Лежу на кушетке. Девочка, которая делает ЭКГ и говорит: «У Вас плохая кардиограмма».

Через час привезли по скорой в Склифосовского. Почти сразу на операционный стол.

Инфаркт.

Поставили стент. Сразу стало легче. Вот, пока живой.

Хотел после реабилитации поехать в районную больницу и плюнуть в морду той бабе-кардиологу. Ведь оказалось, что на первой кардиограмме инфаркт был очевиден. Она просто тогда решила наплевать. Так и проходил я с инфарктом почти целый месяц. Но подумал и не поехал. Мысль у меня опасливая появилась, что сейчас вот приеду, начну слюну во рту собирать для плевка, разнервничаюсь, да ею же подавлюсь и второй инфаркт заработаю.

И вот что я теперь после всего думаю...

Если у Вас в жизни случится какая-то неясная, запутанная или тяжёлая ситуация, то ступайте-ка вы в лес на природу. Походите, побродите – авось оно и само как-нибудь разрешится.

Рассосётся...

Второй концерт...

Перед самым дефолтом 1998 года в Тамбове должен был состояться концерт в рамках фестиваля, посвящённого очередному юбилею Сергея Васильевича Рахманинова. Меня пригласили помочь в администрировании. Просьба поучаствовать пришла от знакомой актрисы, а после неё позвонил главный по проведению программы и объяснил, что ему нужна поддержка и свой человек рядом для координации. Я согласился. Но уже на вокзале, увидев моего, пусть временного, но шефа, я оробел... Дело в том, что выглядел он, как какой-нибудь чемпион зарубежной лиги боёв без правил: росту под два метра, голова, как две мои, челюсть – будто чугунный утюг, вмонтированный в нижнюю часть головы. «Мама дорогая! Какая дикая, бандитская рожа! – изумился я... – Наверно, коммерсант какой-то, и, видимо, к музыке отношения совсем не имеет». Однако тембр голоса, мягкие интонации и речевые обороты выдавали в нём человека, хоть и сурового, но пожелавшего вдруг примкнуть к сцене и даже преклоняющегося перед искусством и его служителями. Возраста он был примерно моего или чуть старше, очень предупредителен и корректен... Одним словом, мы сошлись и поладили, будто давно знакомые товарищи.

Все музыканты, а это был Российский национальный оркестр и сопровождающие, поехали в ночь поездом, что-

бы утром прибыть, разместиться, отрепетировать, отдохнуть и затем уж вечером – концерт.

Я помню сейчас самое главное и только то, что на меня произвело наибольшее впечатление, а потому из всей программы фестиваля остался в памяти только Второй концерт для фортепиано с оркестром и солистом Николаем Петровым.

Прибыли, поселились в гостинице рядом с залом филармонии и пошли на завтрак. Поели, и почти сразу дневная репетиция на сцене.

Петров был несколько ворчлив и недоволен темпом, который оркестр никак не хотел поддерживать и тянул пианиста назад, не давая ему устремиться вперёд. Он останавливался, что-то объяснял, брал предусмотрительно положенный с края клавиатуры по правую руку белый платочек и смахивал им пот со лба.

Напомню, что всё это происходило в трудные и смутные времена с нашим безобразным, вечно пьяным тогдашним президентом, хроническим безденежьем почти всего населения и бесконечными криминальными разборками. Условия жизни Тамбова и Москвы для основной массы людей, населяющих эти города, наверно, мало чем отличались. Но мне тогда казалось, что в Тамбове должно быть ещё хуже, и жителям не то что не до Рахманинова, а вообще-то и до всей классической музыки дела никакого нет, тем более за деньги. Ну... нагонят бесплатно солдат-срочников, наприглаша-

ют старичков из ветеранских организаций и центров социального обслуживания. Соберётся половина зала или чуть больше. Будут делать вид, что слушают и понимают, и... – давай, из чувства глубокого уважения хлопать между частями концерта, когда и хлопать-то не предполагается... А потом, после приобщения к «высокому», разбредутся все: кто спать по казармам, а кто по домам – глазеть перед сном по телевизору какой--нибудь дурацкий сериал... Примерно так, ну... или как-то, может чуть иначе, но в том же духе, рассуждал я...

Мой скепсис был развеян за пару часов до начала концерта. Когда после первой репетиции все отобедали и сильно за полдень вновь стали входить в филармонический дом, то из дверей кассы увидели стометровую очередь. Оркестранты прошли через служебный вход, а я в кассы – посмотреть, что это там такое, и как?

Очередь состояла в основном из среднего возраста мужчин. Одеты они были чрезвычайно торжественно: в костюмы, белого цвета рубашки, с повязанными галстуками и туфлями на ногах. Женщин было заметно меньше, видимо, многие были освобождены от стояния в очереди на каблуках и в вечерних платьях, оставаясь до определённой поры дома.

Это удивительно, но очередь была на бронь!

Оркестр снова расположился на сцене. Шёл короткий прогон перед концертом. Темп не держали, Петров опять был недоволен. Я недолго посидел в зале и вышел в кассы,

теперь уже со стороны служебных помещений. И вот, находясь на ступеньках и, соответственно, чуть выше стоящих, я ещё раз взглянул на очередь. Она не двигалась. До начала продажи брони оставалось ещё минут тридцать. «Что-то не так», – подумал я и почти сразу понял, в чём дело... Почти на всех стоявших в очереди мужчинах, как молодых, так и более возрастных, пиджаки и брюки болтались, будучи на размер-два больше... С рубашками была та же история: повязанные галстуки висели на тонких шеях, упираясь в застёгнутые верхние пуговицы.

«Чёрт возьми эту сволочную, мерзкую власть в нашей стране! Несчастный наш народ! Как можно было его довести до состояния выживания во все эти годы! И кто они такие – эти бездарные, но хитрые: рыжие, пьяные или болтливые твари, засевшие на самом верху, ничего не понимающие ни в литературе, ни в живописи, ни в музыке, ни в науке, ни в экономике, пустые и глупые даже в политике, в которой должны бы соображать! Откуда взялись в нашей стране эти скоты, радостно всех обобравшие и набившие свои карманы всем тем, что им не принадлежит и не могло принадлежать?! И когда всё это закончится?» – вот такие недобрые, если не сказать злобные, мысли посетили меня в кассах перед самым началом концерта.

За кулисами стояли художественный руководитель филармонии, директор и мой шеф. Я примкнул и услышал следующее:

– Надо же такое! На Пугачёву пришло ползала, на Распутину – треть, а на сегодня – всё продали ещё неделю назад, – говорил приятно удивленный директор.

– Там большая очередь за бронью, аж на улицу. Наверное, всем билетов не хватит? – спросил я.

– Знаю, – ответил директор, – всех запустим, сядут в проходах.

В зале тысячи на полторы мест работали кондиционеры, но было всё равно жарко. Договорились, что их отключат перед самым началом, ведь концерт в «живой» акустике и без усилительной аппаратуры.

Минут за десять до начала, мы (администрация) сели приблизительно в десятом литерном ряду, левее от центра и ближе к одной из входных дверей. Рядом расположился всё тот же мой непосредственный руководитель с угрюмым и безжалостным выражением лица. Зал заполнился битком, и, более того, зрители сидели в проходах и стояли по стенам.

Всё выглядело не только чрезвычайно торжественно, но и даже грандиозно, будто что-то готовилось из ряда вон выходящее с громом и молниями.

Под аплодисменты в смокингах вышел оркестр и стал подстраивать инструменты. Михаил Плетнёв не приехал и дирижировал кто-то другой. Кто это был, к сожалению, сейчас уже не вспомню. На сцену с краю вышла ведущая и без микрофона объявила о фестивале и Втором концерте для фортепьяно с оркестром С. В. Рахманинова, представив оркестр,

дирижёра и солиста. К роялю очень конкретно и как-то подловому, вызвав овацию, прошёл Николай Петров и поклонился. Не помню никаких речей перед началом. Перед глазами только огромный портрет Сергея Рахманинова на заднем плане сцены с его размашистой росписью и годами жизни, оркестр, дирижёр и Николай Петров со своим белым платочком справа от клавиатуры.

В какой момент отключили кондиционеры, я не заметил. Но вдруг образовалась тишина и тишина такая, что назвать её мёртвой или звенящей, значит не передать ничего. Это была тишина со знаком минус, будто вы поглядели в пропасть, и она туда потянула, и надо прыгать... Откуда возникло такое ощущение – не знаю, но оно случилось, вероятно, у всех.

Последовали первые аккорды фортепьяно. Во втором концерте начинает и задаёт темп пианист. Оркестр должен влиться следом за ним, и далее вместе, как в дуэте, их воля переплетена и неразрывна. А дальше его (оркестра) воля переплетена с волей солиста. Иначе крах! И тут я слышу, как Петров взял темп гораздо быстрее, нежели на репетициях, где оркестр и так-то не поспевал. Торжественность от происходящего переросла в тревожное ожидание чего-то неминуемого, но того, чего все, впрочем, будто ждали и предчувствовали. У оркестрантов заметно встревожились лица и возникли какие-то мобилизационные телодвижения. Они-то яснее всех ощущали тяжесть ответственности, которую на них воз-

ложил гениальный солист. Он же летел, как паровоз, у которого впереди только рельсы, и уж никуда съехать невозможно. По этим рельсам Петров дерзко предложил мчаться и музыкантам всего оркестра.

И они помчались... И не подвели... И приобшились через Петрова к Рахманинову. И весь зал окунулся в эту бездну, каждый забыв себя совершенно!

Через несколько тактов первой части наступило время основной темы концерта, которая явно проявляется в нём дважды. Она и без того, будучи напряжённой и драматичной, разжимается, как пружина с огромной потенцией и силой, а тут ещё и такой темп... Про мурашки по коже, о которых обычно рассказывают благодарные зрители, я даже и не упоминаю, они с первого аккорда не покидали меня и беспрерывно будоражили и даже терзали.

Вдруг сосед слева, всё тот же суровый московский товарищ, поворачивает в мою сторону голову и говорит: «Мне плохо... Я сейчас умру...» – и начинает сползать с кресла на пол в проход. Под носом у него даже в полумраке я внятно разглядел белый обморочный треугольник и капельки пота по всему лицу. Мы все, кто сидел к нему ближе, повскакивали, и давай его тащить за руки и за ноги к дверям и в фойе. Надо же ещё и не шуметь... А в нём центнера полтора! Выволокли... Он странным образом почти сразу пришел в себя и очнулся. Посадили его на стульчик, оставили под присмотром дежурной старушки, а сами пошли снова в зал на свои

места слушать.

Закончилась первая часть. Зрители в теме и не хлопают – это совсем хорошо. Пауза. Дверь открывается, и тихонечко в зал входит оклемавшийся мой сосед. Садится снова рядом со мной. Вторая часть у Рахманинова лирическая... Мы сидим, блаженствуем и медитируем в гармониях и мелодиях Сергея Васильевича. Я иногда посматриваю налево – как он там, мой друг? А он, вроде, нормально: сидит и слушает себе в удовольствие...

И тут без перерыва (так у композитора) начинается третья часть. Петров темп не снижает, знай себе, только платочком пот смахивает в паузах. У меня опять засосало под ложечкой и появилось тревожное предчувствие. Слышу, второй раз основная тема пошла и тот же пружинный ритм. В зале снова будто мышцы у всех зрителей разом напряглись и застыли. Ну и тело соседа опять поползло с кресла на пол... Белый треугольник, пот на лице и схожая с прежней голосом умирающего лебедя фраза: «Я опять подыхаю...» Дружно встали, вытащили, посадили на стул, позвали бабушку, пошли дослушивать.

Овациям не было конца! Петров улыбался и был, очевидно, доволен. Музыканты едва стояли, как после марафона, который им пришлось пробежать со спринтерской скоростью. У всех и для всех случился большой праздник. Такого блестящего исполнения я больше никогда не слышал. А таких благодарных, грамотных и понимающих зрителей,

да ещё и в таком количестве, никогда не видел.

И ещё в очередной раз убедился я, как обманчива бывает внешность человека и какое несоответствие иногда являет она с мягким и чувствительным нутром его...

Тогда же, в 98-м году, приехав в Москву, рассказал я эту историю одному своему знакомому музыканту, который покончил с музыкой и занимался исключительно бизнесом. Тот рассмеялся и говорит: «Да, уж! Выходит, чуть не «ушатал» Сергей Васильевич твоего бандоса...»

По прибытии в Москву мой тамбовский временный начальник уже совсем не казался столь грозным. Он очень переживал за случившееся и всю обратную дорогу в поезде рассказывал мне о себе и даже признался, что это его второй такой печальный опыт. Оказывается, некоторое время назад он уже бухался в обморок при схожих обстоятельствах и тоже на Втором концерте Рахманинова. Оркестр был другой, пианист тоже другой, ну и зал в другом городе. А результат тот же... «Знать, в композиторе дело...», – подумал я.

Но вот совсем недавно в Москве, в Большом зале консерватории играл молодой пианист – «новая восходящая звезда и громадный талант» (так мне его рекомендовали), а с ним известный оркестр. Заиграли... Всё тот же Второй концерт. Но что-то пошло не так... Как сразу развалилось, так уж больше и не собралось... Отдельные, разрозненные музыкальные куски, я бы даже сказал – осколки. Рахманинова там не было вовсе: Николай Петров умер, а оркестру, очевидно,

было всё равно.

Не то что в обморок никто не хотел падать, но и просто досидеть до конца было трудно. И грустно...

Наверно, всё вместе должно сложиться: и пианист, и оркестр, и дирижёр, и композитор, и слушатель должен быть эмоционально отзывчивый.

Но без фанатизма, конечно...

Бедная Лида

Это было в СССР. Ноябрь 19_7 года.

Генка отслужил полтора года и только стал «стариком». Всё уже было понятно с армейской жизнью, оставалось дотянуть до весны и домой. Именно дотянуть... Уж больно длинными в последний месяц стали сутки. Хотелось домой, всё надоело до смерти: наряды, караул, боевое дежурство под землёй, парко–хозяйственные дни, политзанятия, отсутствие увольнительных и отпусков – издержки режимного батальона связи. Одним словом – тоска зелёная, особенно, когда тебе девятнадцать лет, а самые лучшие годы ты вынужден ходить строем и петь дурацкую песню про девчонку, убеждая её не плакать, когда идёт дождь и чего-то ждать и ждать... А чего ждать, если она на воле и ей тоже девятнадцать.

Ленка была красивая, смелая и стройная блондинка. Такие нравятся всем. Она и нравилась всем... Месяцев через шесть после призыва одноклассник Саня написал, что видел её в компании с каким-то парнем и чтобы Генка выкинул её из головы. И Генка выкинул.

Итак, жизнь тянулась изнурительно неторопливо...

Объявили ночной наряд. Причина, из-за которой пришла разнарядка в город, так и осталась неясной. Обычно в наряд по комендатуре ходили из роты охраны, а тут связисты... Почему выбрали именно Генку и Серёгу, объяснить можно

тем, что, наверно, нужны были ребята поопытнее – город всё же. Выдали штык-ножи, форму ПШ (полушерстяную), проинструктировали, как себя вести: достойно, выдержано, а если что, смело и даже отважно.

После ужина они сели на «козлика» с водилой «из наших» и в сопровождении дежурного офицера поехали за пять километров в город. Город – современный стотысячник, недалеко от Москвы. Здание комендатуры небольшое, как одноэтажная пристройка к магазину. Вышли из автомобиля. Снег с дождём, ветер – противно. При входе официальная вывеска. Низенькое, в две ступеньки, крыльцо. Прошли метров десять по коридору... Одна дверь, другая, ещё чуть и за поворотом в тамбуре – третья, открытая настежь. Зашли вместе с офицером. В вытянутой комнате длинная скамья под двумя зарешеченными окнами, в торце большой канцелярский стол с телефоном. За столом сидит на стуле и что-то пишет старшина: молодой, лет двадцати пяти, уверенный в себе парень, с красивым и лукавым лицом, светлыми волосами и серыми глазами. Видимо сверхсрочник или как сейчас называют – контрактник. Он вышел из-за стола и поздоровался за руку со старшим лейтенантом.

– Вот, привёз тебе бойцов, принимай, – привычно сказал офицер, чуть помолчал... – Ну... я поеду?

– Угу, – согласился старшина, – до завтра.

– Нее, утром за ними лейтенант Волгин приедет.

– Угу...

Офицер ушёл. Генка с Серёгой стояли и не знали, что делать дальше...

– Садитесь ребята, располагайтесь, – неожиданно дружелюбно и даже по-приятельски сказал старшина и, указав на скамейку, сам сел на стул.

У Генки сначала сложилось впечатление, что старшина и не старшина вовсе, а целый капитан или даже майор. Уж больно независимо и даже с некоторым превосходством он вел себя со старлеем. Да и вообще удивительным показалось, что дежурным по комендатуре в таком большом городе был не офицер, а старшина. И вот этот большой человек так доверительно обратился и предложил садиться и располагаться.

Ребята сели и стали разглядывать комнату: матовый плафон с горящей лампочкой, портрет министра обороны на стене, и, конечно, старшину, который аккуратно заполнял журнал дежурства. Спустя некоторое время он поднял голову: «Через часик немного походим по району патрулём... Так, чтобы нас увидели – и обратно», – и подмигнул. Генка с Серёгой заулыбались и с радостью настроились на «лафу».

Прошло минут тридцать, а может сорок... Старшина всё писал и писал... Генка подумал: «Может, даже успеем зайти в какой--нибудь гастроном, купить колбасы, коли старшина такой свой-ский». Кормили в части, как и во всей армии, неважно. Последние полтора года всё время хотелось поесть, и мысли, даже после недавнего ужина с кислой капу-

стой и «кирзой», сразу закрутились на привычную, «возвышенную», жорную тему.

«Что же это он так долго пишет! Так ведь и все магазины закроют!» – начинал беспокоиться Генка. Колбаса ему представлялась не какая-нибудь, а краковская или, на худой конец, одесская...

Серёга тихо сидел рядом, и, опустив голову на грудь, видимо, уже стал слегка задрёмывать.

Вдруг хлопнула входная дверь, и сразу истерично и громко слух резанул пронзительный голос: «Караул... убивают!! Помогите!!!». По кафелю дробью простучали каблуки, и с криком в комнату влетела вся покрытая мокрым тающим снегом небольшого роста женщина, одетая в натуральную пушистую дорогую шубу. В шапке из чернобурки на голове она и сама выглядела, как встревоженная и агрессивная зверушка.

Женщина была очень... очень даже хорошенькая, лет тридцати, может, чуть больше. Но не в том суть, и не это главное...

В момент, когда она появилась в комнате, Генка с Серёгой только и успели, что вскочить и схватиться за штык-ножи.

– Там... там! Девочку убивают!!! Лет пятнадцати... двое!!! – беспорядочно и задыхаясь кричала она изо всех сил.

В это время старшина, не поднимая глаз и продолжая сидеть, прилежно заполнял журнал, не обращая никакого вни-

мания ни на крики, ни на саму женщину, ни на всю так внезапно сложившуюся, тревожную ситуацию. «Бойтся или не хочет неприятностей в своё дежурство, козёл!» – пронеслось в голове у Генки. Видимо, та же мысль посетила и Серёгу... И оба, не сговариваясь, заорали:

– Гдеее!!!

– Сто метров! За углом! За комендатурой в кустах! Скорей же! Помогите!!! – и она бросилась бежать к дверям на выход, показывая путь.

Генка побежал за ней, Серёга следом. Обоих била дрожь, одышка сбивала дыхание. Генка на ходу разминал пальцы, предполагая возможный кулачный бой.

Женщина выскочила на улицу. Ребята за ней к выходу...

– Отставить! – услышали они пронзительную команду старшины, который вдруг «проснулся».

Воины вбежали обратно в комнату, выпучив на старшину глаза, сбиваясь и перебивая друг друга:

– Как же?!... Мы же?!... Там же – девочку?!?!?!...

– Отставить, – спокойно повторил старшина и добавил, – садитесь.

Генка и Серёга, продолжая страдать одышкой, подошли к скамейке, но не сели.

– Как же так, товарищ старшина?!... – начал было возмущаться осмелевший Серёга. Но тут входная дверь бабахнула, и через секунду на пороге комнаты вновь появилась женщина. Теперь она была в полном отчаянии... Лицо перекошено,

глаза презрительно сверкали от возмущения.

– Эх, вы – защитнички!! Труссы!!! Труссы!!! Человека убивают, а вы здесь спрятались и сидите!!! Вы же патруль!!! У вас же ножи!!!

Женщина была так эмоционально накручена, что, как в воронку, утягивала за собой. Она опять побежала к выходу. Вернулась... Проорала проклятия и снова хотела уже броситься к выходу.

И тут старшина наконец-то встал, поднял руку и остановил ребят, собравшихся снова бежать на улицу.

– Сейчас всё поймёте, – сказал он твёрдо. И как бы на что-то решившись, настойчиво, и даже вразрез перебивая, обратился к женщине:

– Лида... Лида. Ли-да! – И только она на мгновение замолчала, как он вдруг выдал совершенно не подходящую к ситуации фразу, – А ты вот, Лида, лучше-ка расскажи, за что и как тебе Нобелевскую премию вручили?

Вопрос был дурацкий, и у Генки мелькнуло в голове, что старшина издевается сразу надо всеми и шутит совершенно неподобающим образом.

Но в ту же секунду, в тот же самый момент, пока Генка соображал, что там сморозил старшина, выражение лица Лиды вдруг избавилось от тревоги, оно как-то обмякло, разгладилось и засветилось мягкой, доверчивой улыбкой. Её голова склонилась на бок и, загадочно подымая взор из под бровей, на присутствующих взглянула совершенно другая,

скромная, тихая, с глубоким чувством собственной значимости и достоинства женщина.

Она, понизив голос на октаву, вдруг заговорила даже несколько снисходительно, но и в тоже время немного тушуясь:

– Ну, это не мне одной... Мы трудились над этой темой всем отделом... Вручили, конечно, мне..., но заслуга всех..., всех..., без исключения. Ну, вы понимаете?...

Стало не страшно, а жутко. Если б сзади не стояла скамейка, то Генка с Сергеем сели бы на пол. Женщина совершенно забыла о терзаемой негодьями «девочке за углом». Она так увлеклась рассказом, продолжая нести околесицу во всех подробностях описывая торжественную церемонию вручения премии и атмосферу, царящую в Швеции, в самом Концертном зале Стокгольма, где проходило награждение, о бурных и продолжительных аплодисментах, временами переходящих в овацию... Всё было описано подробно, до мелочей, с эмоциями и восторгом. И даже банкет в Голубом зале Стокгольмской ратуши в присутствии королевской семьи, с омарами, а также картошкой в мундире и пельменями (национальное блюдо в знак уважения лауреата от Советского Союза).

Гена ничего не соображал, да и не мог даже понимать, в чём именно нюансы и по какому поводу то улыбалась, то плакала, то торжественно вещала дама. После первого «момента истины», когда он понял, что Лида не в себе, разум

и у самого Генки отшибло напрочь. Он, конечно, сталкивался с людьми, у которых были проблемы с головой. В деревне, куда его в детстве каждое лето вывозили отдыхать с бабушкой, был такой, Серёжа Долбешкин, фамилия которого удивительным образом соответствовала его полной неспособности к любому виду обучения. Была картавая бабка Маланья, которая не умела даже считать, и когда спрашивали, сколько цыпляточек вылупилось и бегают у неё по двору, отвечала: «Кучка бееньких и кучка сееньких...»

Так то было там – в детстве, где всё это понятно и даже смешно. Но тут же совсем другое! Красивая, молодая, хорошо одетая женщина... Да ещё всё так как-то вышло... с благородным порывом и даже с надрывом, и ничто не предвещало...

Серёга, как только речь зашла о вручении самой престижной международной премии, начал мотать головой то влево – тарашась на Лиду, то вправо – пытаюсь найти объяснение происходящего у старшины. Но тот упёрся в журнал и прилежно продолжал писать, и писать, и писать... Конечно, он всё понимал и знал заранее, но не «прокалывался», лишь краешком глаза контролируя процесс.

Вечность для Генки и Серёги закончилась минут через пять. Старшина наконец встал из-за стола и, сделав пару шагов, мягко и доброжелательно, но, как и прежде, с нажимом, перебивая несчастную женщину, заговорил:

– Ну, вот и хорошо, Лида... Очень хорошо... Замечатель-

но! Ты всё рассказала... Мы всё послушали и поняли... Молодец!... А теперь пора домой... Сама дойдёшь?

– Да, – упавшим вдруг голосом сказала Лида, крайне смутившись и будто о чём-то сожалея.

– Дорогу помнишь?

– Конечно, – робко и даже потерянно пробормотала она.

– Только никуда не заходи. Прямо домой – да?!

– Да...

– Ну, ступай...

И Лида ушла.

Осталось недоумение и чувство какой-то досады... А может, девочка-то в кустах всё же была?! Эмоциональный отклик, возникший у ребят на истеричный призыв женщины, остался нереализованным. Казалось, что девочка всё же была, должна или могла быть! Хотелось пойти за угол комендатуры, и посмотреть, и проверить... Чёрт бы с ней, с Нобелевской премией! Может она – премия – просто какое-то недоумение?!

Старшина подошёл к столу, захлопнул журнал и будто зачитал приговор:

– Она жена коменданта города полковника Н. Лет пять назад родила, и что-то там с «крышей» случилось. Молоко что ли в голову ударило, точно не знаю. Он её в психушку не сдаёт, видимо, жалеет. Вот она иногда из дома сбегает и по городу болтается или, как сегодня, в комендатуру приходит...

Потом целый час молча ходили патрулём по вечернему

городу. Про колбасу Генка совсем забыл. Какая уж там колбаса...

Утром приехали в роту, как с похорон.

Серёга несколько раз пробовал рассказать своим «старикам» о случившемся, но выходило невесело. Он, как Шура Балаганов, размахивал руками и притопывал ногами, пытаюсь передать то, что видел и слышал накануне, но никто так и не смог вникнуть в суть и толком понять, почему Серёга так заходится. Да и не до того всем было: кто пришёл из наряда, кто собирался в наряд; Лёхе пришло какое-то тревожное письмо из дома; Димка натёр портянкой на мизинце мозоль и хромал, слушая формально и раздражённо. В конце концов Серёга плюнул и через неделю всё забыл.

Генка же был так поражён случившимся, так он силился понять, как такое вообще возможно?! Ему было жалко и бедную Лиду, и неизвестного полковника, который живёт во всём этом ужасе, да и всю семью, наверно, тоже страдающую и переживающую. А как там ребёнок, из-за которого всё это случилось?...

В ближайшее воскресенье он пошел в библиотеку и на удивление отыскал там книжку по психологии и ещё одну – по психиатрии. Через полгода, когда Генка «дембельнулся», то, кроме основной работы, он устроился трудотерапевтом на полставки в детскую психиатрическую больницу. Помогла ему в этом устройстве мама одноклассницы, которая там давно работала старшей медсестрой. В больнице было мно-

го нового и интересного для пытливой Генкиной природы. Но это была уже совсем другая – гражданская – жизнь.

Главное — зубы! (не очень смешные истории)

В 2000-х годах было очень популярно в какие-либо праздники проводить небольшие торжественные и концертные программы для ветеранов с участием профессиональных артистов и музыкантов. Их организовывали Управы и муниципалитеты районов. Наверно и сейчас подобное происходит, просто я не в теме.

И вот однажды в небольшом кафе во время торжественного благотворительного обеда должна была состояться такая встреча пожилых жителей с местным руководством и артистами.

Я администировал культурную часть программы, писал сценарий, приглашал исполнителей и встречал их при входе в кафе. Председатель Совета ветеранов, благообразная старушка лет восьмидесяти пяти или более пришла первая из приглашенных со своей подругой ровесницей и координировала прибытие всей ветеранской группы. Женщина была очень ответственная и без усталости маячила, то выходя на улицу, то входя обратно с кем-либо из своих подопечных, сопровождая его к раздевалке и далее. Я тоже маячил и беспокоился, так как капелла, назначенная открывать программу, заблудилась и опаздывала. Наконец артисты прибыли

и я окончательно вернулся в помещение кафе. И тут в холле, смотрю, столпилась группа охающих и ахающих старушек, склонилась над сидящей среди них на стульчике той самой, которая была главной, и только что хлопотала вместе со мной. Одна из бабушек, обращая ко мне, тревожно прошептала:

– Представляете, на крыльце споткнулась и упала! Да прямо, челюстью... – И выразительно изобразила ступеньку, о которую ударилась пострадавшая, поднеся ребро ладони к своему подбородку.

Я протиснулся и увидел ту самую бодрую старушку с закушенным платком во рту, который она прикрывала рукой, жалобно глядя на всех вокруг. И тут я, узрев очевидное, которое почему-то никто никак не видит, обращая одновременно к окружающим и к пострадавшей женщине, настойчиво провозгласил:

– Зубы! Главное – зубы! Что ж это Вы, зубы то не посмотрите!! Ведь их могло выбить!

Пострадавшая с первой фразы подняла лицо своё с кляпом во рту, и вскинула на меня грустные глаза свои, и начала что-то жестикулируя мычать...

– Зубы, зубы могло раздробить, осколки!.. – Снова было начал я отчаянно проявлять инициативу... Но ближняя ко мне женщина, глядя на меня вместе со всем окружением, как на слабоумного дурачка, мягко так сказала, перебивая:

– Зубки-то у неё давно выпали. Ведь, почитай, девяносто

уж скоро... Протезики там. Не беспокойтесь, ничего страшного не случилось... А платочек уже давно перекисью водорода пропитали.

Я, будто взбрызнутый водой, вмиг схлынул, глупо заморгал глазами, и притих.

«Вот срамота то! Да как же это я так бойко раскудахтался и сразу не догадался, что в девяносто своих зубов уже не бывает?!»

Через некоторое время старушка волшебным образом возродилась, окончательно пришла в себя, и вся публика отправилась на второй этаж, где уже начиналось торжество.

Всё прошло с большим успехом: и официальная часть, и концерт. Все ели и наелись, и даже пели с артистами, и читали стихи, и совсем-совсем не вспоминали о столь драматическом происшествии, случившимся за пару часов при входе.

Теперь уже прошло больше пятнадцати лет и, конечно, многие из тех ветеранов давно упокоились. Но я их хорошо помню, помню тот день, помню так ясно, будто было всё в прошлом году. Бодрые старушки так живут в моей памяти.

Удивительно она устроена – память! Можно долгие годы знать человека по работе, совместной учебе или соседа по подъезду, каждый день здороваться и даже заговаривать, а через год забыть о нём и никогда больше не вспоминать. А вот иного увидишь, скажет он пару слов, взглянет... и помнишь всю жизнь.

Детский садик

Наверно, как и большинство детей, я не любил ходить в детский сад. Но у меня это было вызвано не только той причиной, что ты на целый день лишаешься родителей и привычной обстановки, а и ещё одним крайне неприятным и даже болезненным обстоятельством. Это, впрочем, касалось не только меня, но и всех мальчиков младшей группы (2—3 года) нашего детского садика возле телецентра на Шаболовке, где я тогда и пребывал. Причина была, с одной стороны, совершенно проста, а с другой – почти непреодолима.

Дело в том, что исходила она от девочки из нашего, совсем ещё молочного, коллектива. Её звали Ксюша.

Девочка кусалась...

Кусалась она не просто так. Это был стремительный манёвр с внезапным жгучим укусом сзади в шею либо плечо и моментальным побегом прочь. Происходило нападение только тогда, когда мы (мальчики) стояли и писали.

Струя прерывалась, и возобновить её дальше было невозможно. Испуг и страх подкатывали каждый раз, когда надо было сходить в туалет. Все мальчики нашей группы неоднократно подвергались нападению. Девочка тщательно отслеживала приготовление к событию краем глаза, делая вид, что ей «до фонаря», и появлялась ниоткуда, словно привидение. Мальчики орали и плакали, воспитательницы ругали Ксю-

шу, но всё было без толку. Я однажды резко обернулся, увидел за спиной хищницу и сильно её оттолкнул. Но уже тогда, то ли обременённый хорошим воспитанием, то ли надённый от природы излишней деликатностью, я тот же час за неё испугался и стал ловить обеими руками отскочившую от меня в изумлении особу. Таким образом, и в этом случае кара её не настигла, и покусы продолжались.

Через некоторое время о том, что происходит, узнали родители, случился скандал, и девочка была изгнана. Куда её отправили – не ведаю, наверно, перевели «кусаться» в другой садик. А уж оттуда дорога, наверно, одна – в зоопарк.

Не знаю, как у остальных мальчиков, а у меня на всю жизнь закрепился рефлекс. Я, находясь в туалете, как-то переживаю, если за спиной кто-то стоит. Он, может, и не кусается, но мало ли что в голову взбрёт?

И ещё: имя Ксюша меня почему-то немного настораживает.

Да и женщинам не всем доверяю. Даже тем, которые спешат заходить и вроде с добрыми намерениями...

А так, в остальном – всё хорошо...

Очень хорошо!

Дуся

Дуся вышла на пенсию глубоко за семьдесят. Вышла и, усевшись на скамейку перед подъездом нашей кирпичной пятиэтажки, без конца здоровалась со всеми жителями, давая общие, короткие и категоричные советы. Всё-то про всех она знала и понимала, взгляд её был прямой и пронзительный. Приостановишься, послушаешь и ничего против истины не возразишь. Старушенция была худощавая и подвижная, жила на первом этаже, что позволяло ей шустро исчезать, прячась от внезапного дождя, снега, ветра или просто, проголодавшись, перекусить, чтобы вновь появиться на скамейке.

И вот случилось невероятное...

К подъезду подошли две тётки средних лет, якобы из центра социального обслуживания и предложили купить женские зимние сапоги из натуральной кожи на овечьем меху за какие-то полторы тысячи руб-лей: «Только сегодня и только для ветеранов района!»

О, как!

Дуся была прекрасно осведомлена насчёт мошенников и сама всегда предупреждала об их происках. Но, как известно: «И на старуху бывает проруха...» Она, конечно, потребовала показать удостоверение, и ей показали их аж два... Как можно было не поверить?! Пока шёл минутный процесс

раздумий и сомнений, мимо совершенно случайно проходила третья незнакомка, ну очень душевная, и тоже совсем не старая гражданка. Та, как только взглянула краем глаза на сапоги, тотчас оценила их нереально низкую стоимость. А узнав, что размер полностью совпадает с размером её ноги, начала совать деньги, пытаясь купить обувь даже без примерки. Но «честные и благородные социальные работники» не позволили огорчить ветерана труда и твердо заявили, что право первой руки принадлежит бабушке. Надо только пройти в квартиру и подписать льготный социальный наряд на оплату. А пожелавшей приобрести сапоги молодой женщине предложили подойти к социальному центру и купить их там за полную стоимость в двадцать тысяч рублей.

Короче, Дусю обокрали. Свистнули и все припрятанные по уголкам деньги, и кой-какое золотишко, и даже паспорт, и документы на квартиру.

Ужас!

Приехал сын, вызвали милицию (было это в конце 90-х), но никого, конечно, не нашли.

На другой день горемыка сидела на скамейке и, завидев меня, сначала было привскочила, но тотчас вновь осела. Узнав с её слов в подробностях всю такую невеселую историю, я только и воскликнул:

– Ну как же Вы так!

– Так и сама не знаю – как...?! Ведь я же всегда... всегда...! И Дуся торжественно потрясла узловатым пальцем

над своей седой головой.

С тех пор стала она более замкнута и молчалива. На скамейке сидела всё реже, как-то скукожилась, поникла и только иногда пафосно вопрошала выходящих из подъезда:

«Что делается-то! А?! Что творится?! Вон, учительница на помойке роется! Я ж её с детства знаю, а она до помойки докатилась!» И всегда прибавляла, подняв над головой всё тот же указательный палец, торжественно потрясая им и угрожая не то помойке, не то всему мировому устройству и сообществу: «Скоро все! Все мы скоро там будем! Вон что делается-то!...»

Учительница и впрямь повадилась рыться на помойке. Да и не одна она. Дело было сразу после дефолта, и всеобщей бедности снова стала угрожать нищета.

Дуся сократила свои речи до минимума, и уже даже не здороваясь с входящими–выходящими–проходящими, просто поднимала руку с пальцем и грозно пророчествовала: «Скоро все!...»

Наконец, соседка и вовсе пропала. Говорили, что к ней много раз приезжала скорая помощь. Приезжала, приезжала и однажды её увезла. Куда увезла, никто не знал. Только сын иногда появлялся, но был он какой-то нелюдимый. Пройдёт в квартиру, через час выйдет... И тишина...

И тогда жители твердо решили, что Дуся в больнице или хосписе умерла, и её тихо похоронили. Да и возраст, пора уж...

Прошло время: лет десять или, может, поболее. Иду я как-то вечером гулять со своей собачкой. Собачка подбежала к дому прямо под зарешёченные и всегда плотно зашторенные окна первого этажа. Стою, жду, пока животинка пописает. И вдруг шторка вздрогнула и чуть разошлась, растворив проём внутрь... Боже, что это! Портал... Свет с улицы пал на лик. Именно лик старухи, ну, будто из «Пиковой дамы». Дуся глядела совершенно костлявой и косматой. Она тревожно взирала через щель занавески на мир и что-то шептала. Я стоял столбом. Это был привет с того света. Она взирала прямо на меня с пяти метров, и от её взгляда волосы мои зашевелились... Я бы, наверно, так и каменел дальше, будучи совершенно ошеломлён, но шторка схлопнулась, изображение исчезло.

Кроме собачки свидетелей не было. Я вернулся домой и рассказал жене. А скоро и все жители догадались: Дуся жива!

Дело в том, что с того памятного дня почти каждую ночь по батарее нашего стояка раздавались гулкие удары чем-то тяжёлым. С первого по пятый этаж соседям мерещился Дусин высоко поднятый над головой палец и её тревожный старческий голос: «Скоро все-е-е-е...!» Мне стало тогда особенно близко и понятно изречение великого Эрнеста Хемингуэя: «Не спрашивай, по ком звонит колокол, он всегда звонит по тебе».

Оказалось, сын привязывал маменьку, дабы она не убе-

жала или чего не натворила. Сдавать её в дом престарелых с деменцией он не захотел, но и дома не вполне обеспечил достойный уход, не всегда мог за ней уследить, жил отдельно. Ну а та, пробудившись в ночи, брала свободной рукой какой-то тяжелый предмет и, пробуждая окрестности, мерно дубасила по батарее.

* * *

Преинтересно мы созданы: когда приходит старость, то становится невозможно осознать свой близкий уход. Как это так несправедливо получается: всё будет зеленеть, а тебя больше нет? Так быть не должно... Давайте-ка и вы заодно со мной в это никуда, в эти тартарары!

Я думаю, апокалиптические идеи основаны вот на таком старческом, не вполне осознанном мироощущении, которое свой-ственно и нам всем. Кто с кем совпал в своих тревожных мыслях: Дуся с Хемингуэем, Хемингуэй с Дусей или каждый из нас друг с другом?

Однако будем надеяться на светлое и лучшее завтра!

Но тут вопрос: в чём оно – лучшее-то?

Ведь так или иначе, а как не крути, но Дуся была права, когда вещала, поднимая кверху палец: «Скоро мы все-е-е-е! ...»

Я же, развивая её мысль добавлю:

«Ведь ещё никто-о-о-о!...»

Жириновский

В середине нулевых в Фонде культуры на Гоголевском бульваре отмечали юбилей со дня образования одного молодого европейского государства. Попросили меня организовать музыкальное сопровождение этого торжественного мероприятия. Я знал, что рояль там есть и потому, недолго думая, решил, что фортепианно–скрипичный дуэт подойдёт для фоновой музыки лучше всего.

Прибыли, естественно, пораньше. Прежде чем пройти переодеться в концертные одежды в отведённую для этой цели комнатку, опытный и талантливый скрипач Александр Бронвейбер подстроил скрипку, а не менее опытный и виртуозный джазовый пианист Вадим Матов «прошёлся» по клавиатуре. Я же как организатор, изначально одетый в приличный и соответствующий торжеству костюм, остался бродить по залу, сидеть возле окна на стуле, смотреть на фуршетные столы, разглядывать хрустальную люстру и ждать...

Минут через пятнадцать начала собираться публика и я дал команду играть. Решили, что это будет популярная инструментальная классика. Репертуар был давно отрепетирован и многократно обкатан на публике. Официальные лица собирались небольшими группками. К столам никто не подходил, так как сначала предполагалась торжественная часть. Собралось человек пятьдесят. Образовали простран-

ство для выступления посла чествуемого государства. Вскоре он вышел и на ломаном русском языке произнес свою официальную речь. Не помню, кто выступал ещё и выступал ли вообще, но вскоре официоз завершился и заиграл мой дуэт. Всё было очень достойно и изысканно. Я не играл и не пел, а потому спокойно бездельничал. Можно бы и поесть, но ведь как-то неудобно перед двумя трудящимися музыкантами, не имеющими такой же возможности подойти к столу и насладиться кулинарными изысками. Впрочем, надолго меня не хватило, и, нанюхавшись и насмотревшись на поедающих деликатесы, я перестал стыдиться своих коллег у рояля, подошёл к фуршетному столу, взял тарелочку, да и положил в неё всё, что счёл нужным. Сами играющие свирепо глядели на меня, поглощающего всевозможные деликатесы. Они не знали, что совесть моя чиста, ведь заранее была договорённость о том, что в комнатку, где передевались, для них принесут парочку блюд с яствами. Я благополучно поел и, как Карабас-Барабас, отправился сидеть в кресло, ближе к шторам, закрывающим огромные окна.

Сижу. Наблюдаю. Много узнаваемых лиц из политического сектора и не только. Все едят, пьют благородные напитки, снова едят и, конечно, ещё и находят интерес в общении друг с другом. Некоторые гости опаздывали и входили только теперь. И вот, уже довольно-таки намного припозднившись, в дверях появляется Владимир Вольфович. С ним четверо: двое с видеокамерами в руках и пара охранников.

Жириновский сразу очень бодро проходит в зал к фуршетному столу, берёт тарелку и накладывает в неё всё точно так, как совсем недавно делал и я. Охранники и корреспонденты остаются при входе в дверях. Кроме меня, сидевшего на противоположной стороне от входа, мало кто заметил стремительно вошедшего и скромно растворившегося среди присутствующих лидера ЛДПР. Владимир Вольфович вкушал с аппетитом и не без удовольствия. Скоро тарелка его опустела, и, вытирая руки и губы салфеткой, он, не медля и всё ещё дожевывая, направился к играющим музыкантам, которые продолжали всё это время звучать, помогая присутствующим усваивать пищу. Политик призывно махнул рукой двоим с камерами, и они тот же час прискакали.

– Снимаем! – негромко скомандовал Владимир Вольфович, и, облокотившись локтем на закрытую крышку рояля, а кистью руки упершись себе в подбородок, он в упор влюблёнными глазами воззрился на скрипача. Звучала лирическая пьеса П. И. Чайковского «Мелодия». Это продолжалось с минуту или даже меньше. Бронвейбер, конечно, выдержал, хотя и весь извелся – ведь мастерство, как известно, не только не пропёшь, но и ничем не испугаешь. Прозвучала последняя длинная нота уходящей мелодии. Владимир Вольфович выпрямился и оглушительными редкими хлопками заплодировал так, что скрипач чуть не выронил из правой руки смычок. Это были первые аплодисменты за всё время нынешнего выступления. Естественно, все в зале притихли,

обернулись и сразу узнали Жириновского. Но это было не всё... Владимир Вольфович сделал шаг навстречу смущённому скрипачу и сердечно обнял его. Затем подошёл к пианисту и сделал то же самое. Возвысив голос до декламационного, и с монументальным пафосом он, делая театральные грандиозные паузы, обратился к музыкантам, а затем и к притихшей жующей публике:

– Браво!... Бра-во!!... Никогда!... Ни-ко-гда!... Ни разу, за всю свою жизнь я не слышал столь прекрасного исполнения!... А ведь я много чего слушал и слышал! Часто я хожу в подобные собрания..., но та-ко-го...!!! – и великий политический деятель вновь громко зааплодировал.

Собравшиеся невольно захлопали следом. Эпатаж достиг своей вершины. Владимир Вольфович продолжил...

– Где?! Где их руководитель? Кто привел сюда этих чудо-музыкантов?! Есть у них официальный представитель? Познакомьте меня с ним!

Я понял, что настал мой час. Преодолевая внезапность момента, я встал и сделал пару шагов навстречу. Главный распорядитель всего мероприятия указал на меня и представил. Владимир Вольфович пожал мне руку и предложил присесть в кресла возле окна. Мы сели друг возле друга, рядом никого, только один охранник подошёл и встал метра за три.

Голос у Владимира Вольфовича в приватной обстановке сделался совершенно иным. Он говорил мягко, интонации были тонкими и душевными. Я сразу подпал под его челове-

ческое обаяние.

– У вас только этот ансамбль или что ещё?

– У меня концертная организация. Работаем с профессиональными музыкантами и артистами, – отвечал я. – Малые музыкальные формы – поем русские романсы, песни, арии... Проводим просветительские программы, концерты, фестивали, ну и вот в таких мероприятиях участвуем. Сейчас планируем музыкальные программы для офицерского состава армии.

– А вот офицерские балы смогли бы проводить?

– Конечно, – не сморгнув ответил я, – были бы средства...

– Ну – это не проблема! – на удивление легко откликнулся Жириновский. – Давайте сделаем. Начинаем прямо завтра. Как назовем?

– Не знаю, как скажете, – пожал я плечами, удивляясь оперативности и лёгкости принятия решений.

– Ну... давайте назовем первый бал: «Здравствуй, лето!»

Я обернулся к окну и отодвинул штору. За окном стеной лил дождь, было мрачно и ветрено.

– Так ведь, конец августа? Какое тут лето?

Владимир Вольфович посмотрел на меня внимательно, и я на долю секунды увидел в его глазах «чёртиков».

– Ну, «Здравствуй, осень!» – какая разница, – заявил он, как большой поэт, которому с лёгкостью в голову пришла новая рифма.

Я почуял иронию и его игривый настрой, который он со-

хранил ещё с момента прослушивания музыкального фрагмента и бурной на него реакции. Говоря со мной, он переключил темпоритм, и его общение из театрально-гротескного перешло в доверительно-дружеское, но степень внутренней иронии и сарказма осталась прежней.

Я на всякий случай спросил:

– Как можно с Вами связаться, если «Здравствуй, осень!» мы всё же делаем?

– Очень просто, – жестом подозвал стоявшего неподалеку охранника, – Сергей, дай-ка ему мою визитку...

Сергей достал визитку с реквизитами лидера партии и передал мне. Я поблагодарил... Поглядел на визитку, покрутил её и отважившись, нагло и утвердительно спросил:

– Эх, обманете, Владимир Вольфович?!

– Почему? – удивился тот.

– Я по этому номеру не дозвонюсь...

– Сергей, он нам не верит – говорит, что не дозвонится. Разве по этому номеру нельзя до меня дозвониться?

– Можно, – лениво ответил Сергей.

– Ну вот – «можно», он говорит, что можно – значит, можно... Звоните!

Владимир Вольфович встал, я следом. Пожав мне руку и пройдя мимо полюбившихся музыкантов, он кивнул им на прощанье и удалился.

Прошло несколько месяцев, и у моей концертной организации случился десятилетний юбилей. В числе известных

и значимых людей решил я пригласить на большой сборный концерт и В. В. Жириновского.

Звонил, отправлял факс... – ни ответа ни привета. Может, много времени прошло, и телефон у него изменился? Но, скорей всего, – на кой чёрт я ему сдался со своей музыкой?

Помню сегодня ироничное и восторженное выражение лица его, разнообразные интонации и тембр голоса при непосредственном общении, спонтанность и гибкость реакций.

«Очень усталые глаза и синие губы. Сердце не прокачивает», – подумал тогда я. Мне даже показалось, что его организм совсем изношен, что живёт он на «полную катушку» и не так много ему осталось... Но нет, прожил ещё почти двадцать лет, по-разному вошёл в дом каждого человека. И вот... вчера умер. Жаль! Яркий был политик и необыкновенный человек...

Запах солнца

Сегодня опять это случилось. Второй раз за год. Обычно такое происходило реже, раз в несколько лет. Наверно, время так уплотняется...

Днём в окно заглянуло зимнее солнце. Я прилёг на диван, повернулся лицом к его спинке и стал было задрёмывать. На кухне едва слышно через коридор и комнату зашумела вода. Это Наташа моет посуду, чуть позвякивая тарелками. Где-то в низу под окнами кричат, играя, дети. Проехала какая-то машина. И тут...

Я не уснул, а наоборот, как бы вздрогнул от неожиданности и ясности происходящего: «Ну вот, опять оно...»

Мне лет десять. Диван, майская теплынь, запах солнца, маленькие дети кричат за окном, машина проехала, вода из крана на кухне... Только посуду тогда мыла бабушка. Всё так же... Всё так... Но только...

Но только через пятьдесят с лишним лет... И бабушка давным-давно умерла, а я, мягко говоря, вырос, и было это на другом конце такого большого города, и, конечно, не в этом доме... И там весна – самый разгар, а тут – начало зимы...

Зачем и кто отправляет меня туда? И ведь до мелочей! Кому и что сделал я хорошего или, может, плохого? И какая такая таинственная цель у памяти? В наказание она или

поощрение? Наверно, это гипноз вселенной погружает меня в прошлое не во сне, а наяву. И всё будто, как прежде: и звуки, и запахи...

И завтра утром в школу.

Иван Никандрович

Иван Никандрович схватил тяжёлый классный журнал в жёсткой картонной обложке и метнул его в Сашку Давыдова, что-то бубнившего на ухо соседу. Тот успел увернуться, и журнал прямиком просвистел в стену, чуть было не задев отличника Мишу Бухтина. Пожилой раздосадованный учитель быстрыми шагами подошёл, поднял журнал, и что было силы саданул им по парте перед носом испуганного Давыдова. Затем, с одышкой и прихрамывая на правую ногу, отправился к столу продолжать урок.

Нечто подобное бывало частенько. Иван Никандрович, участник Великой Отечественной вой-ны лет под шестьдесят, был чрезвычайно горяч и одержим своей работой. Он любил математику и желал донести и привить свою любовь каждому ученику. Но если вы подумаете, что он был ограничен одной только математикой, то сильно ошибётесь... Столь особенного, разностороннего и такого результативного педагога я в своей жизни больше не встречал. Уже через год весь наш класс подтянулся и хорошо знал предмет.

Занятия строились следующим образом...

Иван Никандрович не на много, но всегда чуть опаздывал. В класс он являлся уже эмоционально заряженным и подкрученным этим своим опозданием. Роста был высокого, сухой, с мешками под темными глазами и кудрявыми, черными и

жёсткими волосами.

Итак, математик входил...

Мы вставали, он коротко здоровался и потом, когда все садились, как-то недовольно и долго молчал.

Мы подозревали, что Никандрыч частенько «закладывал за воротник». Да что там – подозревали, так оно и было... Но, как все люди старшего поколения, к утру понедельника брал себя в руки, трезвел и выходил на работу «огурцом».

– Я чего опоздал-то..., – поморщиваясь начинал он свой монолог, – спину прихватило, почечная колика опять... в горячей ванной с Но-шпой часа три отмокал.

Иногда в первой части урока разрешались реплики с места, но чаще пожилой учитель сам исполнял наше заветное желание без просьб. Дело в том, что каждый урок начинался с непридуманного рассказа о вой-не. Какой-нибудь небольшой, но яркий эпизод: или страшный, или смешной, поучительный, либо даже трагичный. Мы раскрывали глаза и рты и слушали... На рассказ уходило минут пятнадцать или более. И когда все, даже настроенные скептически, невольно погружались в реальные события из жизни их участника, рассказ неожиданно прерывался и следовал потрясающий разворот: Никандрыч начинал урок математики! Мы, подсаженные на крючок воображения, были как под гипнозом и продолжали видеть, слышать и поглощать с таким же энтузиазмом, как только что про вой-ну, теперь уже и тему самого предмета обучения.

Объяснял он также эмоционально, как и рассказывал: написав короткую формулу на доске, мгновенно поворачивался и продолжал с горящими глазами и напором, будто на сцене, глядя одновременно на всех и каждого. И ведь это был тот же самый, совсем ещё недавно усталый, брюзжащий и измученный почечной коликой человек... Если кто-то выпадал из гипнотического сомнамбулизма и отвлекался или отвлекал других, он тотчас получал журналом, тряпкой, указкой, мелом, да чем угодно и куда попало. Этот тотальный контроль и ураганный напор с объяснением темы занимал следующие пятнадцать минут. Затем он выводил к доске кого-нибудь из самых отстающих и буквально пытал того, выясняя, что ему ещё непонятно... Таким образом иногда выяснялось, что, учась в восьмом классе, ученик не знал материал за пятый. И тогда учитель стремительно заходил в прошлое, объясняя всё с азов, и буквально вдавливал правильное понимание. Пройдя все этапы на примере отстающих, многие выясняли, что и у них самих были большие пробелы в знаниях.

И тут звонок...

Он должен был бы прервать процесс. Но все сидели тихо и ждали, пока произойдет естественная пауза. Через минуту Иван Никандрович с досадой останавливался и отпускал нас на перемену перед вторым часом.

Математика проходила в два урока подряд.

Через десять минут мы возвращались в класс.

Снова всё начиналось с короткого рассказа о вой-не. Я помню только один, наверно, самый первый, да и то туманно, скорее, даже только эмоцию от эпизода. Вот он:

– Я был совсем молодой. Призвали в восемнадцать телефонистом. Первое боевое задание... Поручили протащить телефонный провод из одного окопа в другой метров за пятьсот. Я очень боялся, кругом стреляют, взрывы, страшно... Выскочил с бобиной из окопа и побежал. Бегу, грязь, скользко, ни о чем не думаю, только бы добежать! Осталось метров сто, и тут начинаю всё время падать... Ноги подкашиваются, и всё тут! Наверно, думаю, устал и не добежу. Каждые десять метров – брык, встаю, бегу и опять – брык! Но добежал... Прыгнул в окоп, там меня ждали и переживали. Приняли... Передал бобину с оставшимся проводом, никак не отдышусь. Чуть отдохнул и тут чувствую: правый сапог полон воды, зачерпнул, наверно. Хочу снять – не могу, сил нет... Ребята помогли. Снимаю, переворачиваю, а он полный крови. Ранило меня в верхнюю часть над голенищем, и кровь стекала прямо в сапог, а я и не заметил. В горячке даже боли не почувствовал. Вот почему падал-то всю дорогу. Отправили в госпиталь. Потом опять воевал...

Иван Никандрович помолчал секунду и строго спросил:

– Кому и что ещё непонятно по теме первого часа?

Все молчали...

– Не бойтесь, говорите, что ещё не поняли?

Минута молчания заканчивалась вызовом к доске следу-

ющего двоечника, и на его примере становилось окончательно ясно, всеми ли была освоена пройденная тема.

Далее объявлялось письменное задание всему классу.

В следующем году двое из нашего класса обычной общеобразовательной школы стали участниками и призёрами московской математической олимпиады (второе место). Один из них после школы безо всякого блата поступил в МГУ на физмат, а затем и окончил аспирантуру. Сегодня он серьёзнейший финансовый аналитик в стране.

Иван Никандрович был с нами два года. Ему предложили уволиться «по собственному желанию» из-за пьянства и многочисленных опозданий. Наверно, кто-то стуканул...

Последний год математике нас учила скучная, манерная и будто бы отбывающая наказание, бездарная тётка.

Катенька

Катенька была миленькой, наивной и, главное, очень доверчивой. Ей в середине восьмидесятых только исполнилось восемнадцать, и она влюбилась в молодого и красивого сослуживца своего отца с этакой очень благородной и звучной фамилией – Арбацкий. Произошло это как-то легко и просто, как бы само собой... Катенька приехала к отцу на работу и подвезла ключи от квартиры, которые он забыл дома. Работая в смену сутки через двое, отец мог на другой день не попасть в квартиру, так как утром жена и дочь уходили по своим делам. Жили они в последние годы в Кашире под Москвой, куда приехали из Новосибирска. Отец ездил работать в столицу, мать Алла Петровна трудилась инженером на местной ТЭЦ, а Катенька занималась на нулевом курсе в театральном институте. Там она пела, танцевала, читала стихи и прозу и готовилась поступать на будущий год, чтобы стать артисткой. Вроде всё к тому и шло...

Дочка приехала к отцу в обеденное время, и её сразу усадили за стол пить чай с бубликом.

Арбацкий был опытным и обаятельным тридцатилетним холостяком без комплексов, барьеров и тормозов. Да и какие уж тут тормоза, когда девушка всю дорогу смущалась, краснела и смеялась. Когда бублик был съеден, а чай выпит, Катенька засобиралась домой, а Арбацкий очень естествен-

но предложил проводить её до дверей на выход. Там он записал и вручил номер своего телефона. Конечно, отношения с дочерью начальника вносили определённый риск, но «охота пуще неволи».

Они встречались совсем недолго. Несмотря на то, что для Катерины это были первые близкие отношения, она сразу понимала, что всё несерьёзно, и просто пора начинать быть взрослой, что ли... Ну и Арбацкий был тоже хорош и достоин первого падения.

Через два месяца стало понятно, что месячных не дожидаться и надо что-то делать, и делать желательно неофициально. И главное – где? Московской прописки нет. И тут Арбацкий очень-очень помог... У него нашёлся такой близкий врач-гинеколог, который предельно доверительно согласился помочь хорошей знакомой друга.

Дата аборта была назначена максимально быстро. Катя приехала заранее. Её трясло от волнения и страха. Она никогда не была у взрослого гинеколога, да ещё с такой проблемой: «Вдруг сделаю что-то неловкое или не так, как надо. А ведь надо быть взрослой и достойной столь сложной ситуации». Дверь приоткрылась:

– Проходите, – Катерина прошла и робко села на стульчик.

Врач был один, сестра в кабинете отсутствовала: «Наверно, так и должно быть...», – подумала пациентка. Док-тор повернул в двери ключ и прошел за стол. Записывая в карту симптомы, он был предельно обходителен, внимателен

и вежлив. Пристально вглядываясь в лицо Катеньки, гинеколог иногда то хмурил брови, то понимающе прикрывал глаза, то кивал или качал головой.

«Какой молодой, – подумала Катя, – наверно, даже моложе Арбацкого...»

Наконец, он предложил раздеться и пройти в операционное кресло. Катенька почти успокоилась, её лишь немного потряхивало, но это же ничего...

Врач внимательно произвел осмотр и по окончании вдруг озабоченно и строго спросил: «А Вы знаете, что перед абортом необходимо совершить половой акт? Вы его совершили?»

Катя не уловила в вопросе врача библейского подтекста, а только поняла, что всё пропало! Её так и заколотило прямо лёжа в кресле: «Нееееет, – проблеяла девушка, – я не знала...»

– А без полового акта никак нельзя?

– Нет, – отрезал врач.

– Что же делать? Куда я теперь? – начала хныкать больная.

Доктор отошёл, сел за стол и принял позу роденовского мыслителя. Катенька продолжала лежать в кресле и нервно трястись. Через минуту врач нашел выход из трудной ситуации и заявил: «Я, конечно, могу помочь, но это будет строго конфиденциально... И неофициально... Так не принято и... делается только по доверительной протекции».

– Доктор, пожалуйста! – взмолилась пациентка.

Больше доктор не заставлял себя упрашивать. Он муже-

ственно приспустил штаны, велел больной принять более удобную и подобающую случаю позу и совершил вспоможение всем тем, чем имел возможность помочь.

Затем доктор ввел Кате в вену наркоз и провёл чистку, как и положено в подобных случаях.

По пробуждении Катя ещё раз была настоятельно проинструктирована о строгой врачебной тайне и неразглашении. Она вышла из кабинета чрезвычайно довольная и с лёгким сердцем: «Как хорошо, что всё прошло так удачно... И как же я, клуша бестолковая, не знала о том, как надо!»

Екатерина, конечно же, была очень доверчивой и наивной, но позже, обретя жизненный опыт, всегда старалась маскировать свою слабость и даже безволие под маской сильной и уверенной в отношениях со всеми, с кем её сводила жизнь.

* * *

Прошло пять лет. Катя закончила учиться, побывала замужем, и вот недавно развелась. И тут, при выходе из метро Рижская, останавливает её цыганка и пристально так, глядя в глаза, заявляет, что на ней сглаз, порча и ещё какое-то страшное проклятие.

– Я так и знала! – шёпотом воскликнула доверчивая Катя.

– Сейчас, – сочувственно говорит цыганка, – Я тебе помогу, – и отводит в сторону...

Ну, а дальше – понятно: обручальное кольцо, серьги и все деньги плавно перекочевали к той самой «помощнице». Катя очень скоро очнулась, но это уже было неважно, волшебница утекла, как с «белых яблонь дым». Обманутая и обобранная молодая женщина шла по улице и плакала: «Какая же я дура! И так денег нет, и работы совсем нет! Кому артистки сейчас нужны, а тут ещё и... Правильно, что от меня муж ушёл, от наивной дуры, дуры, дурыыы!»

Конечно, вспоминалось много чего глупого и несуразного. Ведь когда происходят радостные события, то следом на хорошее память всегда накидывает вуаль, а вот стукнет по башке как следует, так потом стучит и стучит, да чередой вся мерзость так и приплетается... и приплетается.

Было и впрямь тяжело: в стране полным ходом шла перестройка, по улицам там и сям шныряли аферисты и жулики. Но Катенька, оттолкнувшись от самого дна отчаяния, взяла всё же себя в руки и после развода, быстро обучившись быту, окончила ещё и юридический институт, повторно вышла замуж и даже создала свою фирму модных тогда юридических услуг. С актерством у неё ничего не вышло, а вот с юриспруденцией вроде сложилось.

Не всё, конечно, было «голубым и зелёным». Родить и даже просто забеременеть не получалось никак. Вероятно, последствия того аборта были фатальны и шансов не оставляли. В итоге пара решила усыновить ребенка. Благо, близкая родственница работала в роддоме и при первой возможности

помогла быстро оформить отказника. Через пять лет усыновили и ещё одного мальчика.

Вот так бывает... Не случилось своих детей, зато чужие обрели родителей. А старший недавно даже женился.

Катенька оказалась очень хорошей и ответственной мамой. Она много работала и никогда не говорила плохо о мужчинах. Иногда даже влюблялась в клиентов, романтически наделяя их необыкновенными качествами, и за завтраком или обедом, набив полный рот едой, мечтала, глядя в окно, забывая даже жевать...

С годами Катенька очень полюбила собак. Когда она рассказывала кому-нибудь о своём декоративном карликовом пудельке, то ласково говорила: «Иногда я даю ему погрызть косточку – ведь он же всё-таки собака и мальчик...»

Арбацкого она с тех пор больше не видела, зла на него не держала, и только иногда пыталась понять, был ли он в курсе деятельности того своего друга-гинеколога, и уж не грызли ли они иногда косточку вместе?...

Ко Дню Конституции

В советской армии она полагалась на обед во все дни государственных праздников.

5 декабря 1977-го, как и год назад, мы с нетерпением ждали большую праздничную котлетку. В обычные дни котлет не давали, а потому все они были долгожданнами и особенно вкусными.

Но неожиданно выяснилось, что Верховный Совет СССР собрался и принял новую конституцию, перенеся праздник с нынешнего 5 декабря на 7 октября следующего года. Сразу возникло подозрение, что вместе с праздником и котлету перенесли почти на год вперёд. Обидно! Они и 7 октября её зажали, и сейчас 5 декабря не дадут. Всем остальным служивым вроде ничего, а вот нашему призыву – хоть по весне и на дембель не уходи. Их там – законодателей – наверно, «жаба придушила», а мы будем обделены и растоптаны вопиющей несправедливостью!

Предчувствуя недоброе, мы вяло шли в столовку, шаркая «по-стариковски» сапогами, надеясь до последнего, что закон ещё не действует... Но не случилось – шиш нам всем, а не котлета!

Прошло месяца два. Память о новогодней котлете растаяла, а до 23 февраля было ещё далеко. Батальон сидел на квашеной капусте с картошкой, ну, иногда, разве что, чуть

мяса с жилой или жиром дадут... И тут командование неизвестно на каком уровне приняло решение реабилитироваться. Впрочем, может, всё просто так само совпало... Но в воскресенье утром, когда всегда давали куриное яйцо, сваренное вкрутую, а к чаю иногда и калорийную булочку с изюмом, нашу роту построили и объявили, что сегодня в обед приедут корреспонденты из центральной всесоюзной армейской газеты «Красная звезда» и в столовой будут фотографировать, а затем опишут в статье процесс нашего солдатского кормления. Приказано было оперативно постричься, погладиться, нарядиться в парадную полушерстяную форму и очень ответственно отнестись к акту приёма пищи, изображая на лицах дружелюбие и чувство глубокого удовлетворения.

Тут я хочу заметить, что добрая половина сослуживцев была из деревень, и наше городское хроническое недовольство солдатской кухней вызывало у них открытое раздражение и недопонимание. Когда после безвкусной перловки все подолгу жевали прилагаемую к ней жилу с куском мяса и никак не могли прожевать, то мы – городские – это выплёвывали, а ребята из деревень упорно своё дожевывали и заглатывали. Нас же обвиняли в капризной избалованности: «Дома мы пару раз в год мясо едим, а тут кормят хорошо, мясо почти каждый день», – заявляли довольные селяне.

Это они жили мясом называли. Что уж тут говорить про котлеты...

И вот начищенная, побритая, подшитая и переодетая рота строем подошла к входу в столовую, и мы ручейком, как обычно, стали проходить внутрь. В дверях с тревожным лицом стоял замполит и каждые три секунды, будто попугай, говорил проходящим одно и то же: «Ведите себя достойно! Ведите себя достойно...!» Видимо, он уже вполне знал и понимал, что нас там ждёт впереди. В зале приветливо и широко улыбаясь нас встречали как родных офицеры во главе с комбатом.

Корреспонденты щёлкали затворами фотоаппаратов, повара в белых колпаках и накрахмаленных халатах бегали и заглядывали входящим в глазки, сновали ещё какие-то странные люди с бабочками на горле. Все чему-то очень радовались и, очевидно, с перехлестом исполняли наказы своих командиров и начальников. За столами уже сидела первая рота. Они, как всегда и было заведено, пришли чуть раньше и уже ели.

Мы прошли к своим столам с лавками и, ожидая команд: «садись» и «приступить к еде», стали рассматривать, что там у нас сегодня на обед.

В то время давно уже вышел на экраны художественный фильм «Иван Васильевич меняет профессию». И тут оказалось, что сказочный стол с яствами самого царя Ивана Грозного каким-то невероятным образом из кинофильма перекочевал к нам в столовку. Такое киношное волшебство вызвало у молодых людей недоумение и даже у части из них оче-

видный шок. Когда все сели, то деревенские сложили ручки и продолжали просто смотреть на всё это. «Старик» Володя Михальков, глядя на меня через стол и ища поддержки, робко спросил: «Это что – можно есть?»

– Нет, – процедил я заговорщицки сквозь зубы, – это бу-тафория, сейчас посидим, понюхаем, нас поснимают – и обратно в роту...

Михальков был из глухой деревни. Он был мрачен и сдержан, никогда не смеялся, а только так иногда мог проворчать или ухмыльнуться, и всё. А тут даже и того не изобразил...

На длинных столах для десяти человек в широких вазах на ножках, блюдах и салатницах стояло всё, что только было угодно душе любого советского гражданина: мандарины, яблоки, груши и виноград; нарезка осетрины и горбуши холодного копчения; финский сервелат «Салями»; говяжий язык, порезанный тонкими дольками; салат оливье и винегрет... Отдельно в глубокой тарелке невзрачно расположилась икра кабачковая. Слава Богу, не отважились выставить икру осетровых! И никаких тебе котелков с половниками на столах... Всё в тарелках и иной благородной посуде...

Михальков ткнул вилкой (вилок тоже раньше не давали) в красную рыбу, зацепил, положил в рот, и поморщившись заявил, как отрезал: «Мне это не нравится». Но проглотил.

Вели себя и ели не просто достойно, а даже как-то аристократически вяло. Половина холодной закуски осталась на столах. Через пятнадцать минут явились официанты, ко-

торых, как и колбасы «салями», отродясь в этом зале не бывало. Они забрали остатки недоеденных холодных блюд и быстро разнесли каждому отдельно куриный суп в глиняных коричневых горшочках. В каждом горшочке в бульоне плавала либо грудка, либо ножка, либо бёдрышко... И ни единого крылышка, шейки или головы с гребешком и клювом. Надо же! Вот это всем понравилось!

Затем ещё одна смена тарелок, и вынесли горячее. Горячее было с гарниром из картофельного пюре на выбор: жареное мясо, рыба или та самая, теперь такая несчастная в сравнении с остальным, котлетка. Ну и в финале, думаете, принесли чай с калорийной булочкой? Конечно, нет! Принесли черный кофе в больших кофейниках и отдельно сливки в фарфоровых молочниках. А вместо калорийной булочки с изюмом притащили пирожные нескольких сортов.

Михальков почти ничего не ел. А когда вынесли три горячих блюда на выбор он начал смотреть в пространство и только злобно пробурчал: «Они, что – издеваются?!»

Репортёры–журналисты к началу кофейной церемонии уgomонились. Они были приглашены за отдельный стол вместе со старшим офицерским составом. Впервые за полтора года я видел, как офицеры ели то же самое, что и солдаты.

Обед продолжался не пятнадцать минут как всегда, а час или более того.

И вот тогда через все эти «потемкинские деревни», с гоголевским «Ревизором» мне и привиделся близкий развал

нашего родного государства.

Ещё когда--нибудь расскажу, как мы перед приездом главного масляной краской пожухлую жёлтую травку превращали в зелёную...

В 1993 году ельцинская конституция вернула обратно в декабрь ту нашу отобранную когда-то котлету. И всё бы хорошо... Но, к сожалению, это, наверно, и есть самая большая справедливость, которая случилась в нашем уже новом демократическом обществе. А в остальном – сами видите... Но будем надеяться... Надеяться до конца.

Статью же тогда вроде бы напечатали, правда, сам я её не видал и не читал, но говорили, что на одном из фото был Михальков с кислой уставшей физиономией и куском рыбы на вилке. На его лице явственно читалось: «Каждый день всё красная рыба да красная рыба... Не могу я её проклятую есть! Надоело!»

Коленки

Через три месяца после её смерти я тебе сказал:

– Не могу к маме приходить в пустую квартиру: «Мутит меня там».

А ты:

– Это понятно, – тебе всегда всё понятно, – в доме как прежде, а мамы нет.

Я тогда будто бы согласился. Наверное, и так, как ты рассудила, – тоже верно. Но причина всё же не в том, ведь тоска накатывала не только у неё дома.

Вот и лето прошло, и уж скоро год... А всё не легче.

И тут, наверное, понял я, в чём дело...

Раньше, когда об этом читал, видел в кино или на кладбище наблюдал стоящих на коленях перед могилой, то полагал, что они тут молятся или просто вот так принято. Вокруг меня давно в покойников преобразовались многие: и родственники, и друзья, и знакомые, – но самому вставать на коленки возле могилок в голову как-то не приходило. А тут стал я ловить себя на мысли, что весь год у мамы прощения прошу. И тяжело оттого, что никак его не выпрошу. И ведь так оно и есть – вот отчего мне худо-то! Не потому, что её нет, а всё остальное, как прежде, а от непрощения себя самого. И волна иной раз накатит, когда всплывает в памяти, как злобно мог высказаться, или оговорить, а то и просто накричать

и смутить её за то, что не понимает нечто такое ясное и очевидное для меня.

Ох, и неприятно всё это! И очень стыдно... И где-то, то ли в желудке, то ли в груди, камень образовался... Давит – собака!

И вспомнил я спустя время твоё разъяснение, с которым тогда вроде и согласился, а сейчас решил, что – нет – не в том дело, а надобно мне свою вину как-то искупить или хоть что-то попытаться поправить. Камень с души надо снимать...

Ну вот и пошёл я на прошлой неделе опять на кладбище, где она под памятником и цветником под землёй почивает. Прибрался, стёр пыль с гранита, положил цветочки. Но пришёл-то с особой целью...

Стою, прикидываю, как мне припасть, и начать просить прощения. Стал было опускаться... И так, и сяк, а места мало: три цветника с дальними и близкими родственниками – мама посредине. Изгородь почти вплотную к могилам – ну никак не влезть, так, чтобы встать на колени и разместиться. И самое неловкое в том, что нет в душе никакого настроения каяться. Нет, и всё тут! Пока прибирался, раскладывал цветочки, пыль стряхивал – ушло куда-то скорбное чувство. Напрочь испарилось... Ну, вот же – только сейчас было... Было, когда ехал, потом, когда шёл по дорожкам и тропинкам к могиле... А сейчас сгинуло, и всё!

Постоял, как всегда, помолчал, повернулся и побрёл на

выход. Не удаётся от души покаяться. Не так-то это всё и просто. Надо, наверно, поймать момент непосредственно на могиле, но как? Или может и дальше так мучиться? А то выходит как-то уж больно просто: пришел, бухнулся на коленки, постоял, выжатыми слезьми умылся, камень с души скинул, отряхнулся и дальше побежал, будто всё искупил, а сам сделался новенький и невинный, словно после причастия у попа.

Хорошо им – религиозным согражданам, верящим в мироточения, поясок, гвѳздик и мощи разных чудотворцев. Но чтобы вот так, через все эти суррогатные костыли и штучки поверить, надо истинную-то веру в Бога окончательно потерять... А я так не хочу, да и не могу. Уж лучше буду продолжать совестью мучиться. Бог милосерден – Он простит.

И на коленки припаду тогда, когда они сами невольно подогнутся.

Линия... (мистическая история)

Ленка глядела на это маленькое недельное, совсем беззащитное существо, и в голове выстраивалась этакая прямая линия от него до её, Ленкиных, шестидесяти пяти лет. Линия, конечно, была витиеватая с загибами, перекрутами, ответвлениями и загогулинами, но с такого громадного расстояния от точки до точки она казалась совершенно прямой, ровной и длинной.

«Надо же, у неё всё ещё впереди...», – подумала недавно состоявшаяся бабушка и чуть было не расплакалась.

Сын Ваня не хотел ни жениться, ни детей. Ленка и сама долго считала это нормальным, да и себя бабкой видеть не желала: «И какое смутное будущее у родившихся ныне? И что их ждёт, в чём перспектива? Самим бы до старости без больших проблем добраться. А там уж и в урну...»

У сына с восемнадцати лет ежегодно появлялись новые девушки, потом к тридцати – женщины, а в последние годы и вовсе не пойми кто. И всё никак, ни одна не удерживалась. Да и ей самой они не нравились так, чтобы глаз лег. По типу Ваня выбирал всё одних и тех же: тощих, длинных, безгрудых и каких-то безликих. Ну а чего ждать от моделей или стремящихся ими быть? На Ленкин взгляд все они казались недоделанными, малообразованными, безынициативными и какими-то вялыми, что ли...

Сама-то она, как раз была фактурной, я бы даже сказал модельной, наружности: высокого роста, стройная, с выраженной грудью, густые темно-каштановые волосы, милое лицо и лукавые карие глаза. Но главное – это изящные кисти и тонкие длинные пальцы рук... Нет, главное – это узкие элегантные щиколотки ног с высоченным подъемом. Одним словом, тут, сравнивая щиколотки и пальцы рук, я не берусь отдать чему-либо первенство...

Воспитывалась и росла Лена в очень благополучной традиционной семье коренных москвичей с бабушками и дедушками. Окончила иняз и даже некоторое время спустя преподавала в МГУ. С самой молодости, да и всю сознательную жизнь, активно тусовалась в домах творчества, много ходила по выставкам и театрам, вела довольно богемную жизнь. Но, если вы подумали, что она была белоручкой, то вы сильно ошиблись. Елена на громадном загородном участке почти всё делала сама. Умела: косить, красить, копать землю; не гнушалась никакой черной работы. Ходила по магазинам, готовила обеды на всю семью и мыла посуду (правда, в посудомойке). Лена держала в полном порядке почти гектар земли и два дома, а в Москве – ещё и большую квартиру.

И, конечно, ей, барышне грамотной, знающей и понимающей, было не по себе от тех девиц, которых приводил Ваня, становившийся с годами всё увереннее и своенравней.

После смерти родителей, которых Елене Николаевне пришлось тащить на себе десять последних лет, образовалась

естественная пустота. Сын вырос, муж почти всегда, исключая месяц в году, был за границей.

Самой выпуклой чертой характера Лены всегда была излишняя тревожность и обеспокоенность за судьбу и здоровье не только своих родных, друзей и близких, но и вообще всех, с кем была даже незначительно знакома. И тут сын, который был рядом и ближе всех, вобрал в себя ту освободившуюся силу и энергию, заняв место и родителей, и мужа, и друзей. При малейшем его отсутствии она с трудом находила себе место, прекрасно понимая, что толку от её беспокойства нет никакого. А уж когда он уезжал в рабочие командировки или отдыхать в горы, то нормальной жизни и подавно не было. И порой не зря... Однажды в горах у Вани случился приступ аппендицита, и его едва успели довести до местной больницы, какая уж подвернулась. Конечно, мама ничего не смогла бы сделать, она и не знала-то ничего, пока мальчик сам не позвонил из палаты после операции. Но страха это событие только прибавило. И даже не страха, а бесконтрольной паники, которая накатывала, если он, уезжая, не звонил пару дней.

Тут надо рассказать, что родился Ваня только через десять лет после женитьбы. Все эти годы они с Олегом (так звали мужа) ходили по врачам, колдунам и экстрасенсам, гадали на картах. Но и вердикт врачей был неутешителен, и колдуны бормотали что-то невнятное, и беременность ни разу не наступала. Короче – «дело швах».

Спустя пять лет поехали от работы мужа в Берлин. Пока он трудился, Ленка сидела в берлинской квартире. Сидела, сидела и досиделась... На фирме образовалась любовница. Любовница на работе – это серьёзно: общие интересы, общие проблемы, разговоры и цели тоже общие. Ленка психанула и уехала в Москву.

А тут 90-е, революция, развал, и всё кувырком.

Но подвернулся молодой и положительный человек при Жигулях. С ним как-то вроде и утешилась в трудную годину. Андрей – журналист и впрямь был благополучный, терпеливый и внимательный ко всем Ленкиным капризам. А Ленка с ним была уж очень капризной... То спинку при ходьбе Андрюша неровно держит, то приглянувшийся ей прибрежный камень до дома никак не донесет, всё отдыхает... Камень и вправду красивый, но и не меньшая правда – больно тяжёлый. Несёт-несёт, устанет и спинку начинает сгибать... Ленка ему так тягуче и недовольно: «Андрей, спину держи! Не сутулься!» Он переживает, конечно, но несёт.

Очень внимательный к её капризам был... Очень...

Только пресный... Тоже очень...

«Ах, если бы Олежка был тут, так он, наверно, и пару таких утёсов приволок. И спинку бы держал». Олег – здоровенный и крепкий малый, сам, как валун. Они с Ленкой оба такие спортивные и требовательные, так придирчиво друг друга заставляли спинку держать, так себя изводили, что у обоих умопомрачение наступало. Вот она по инерции-то и да-

вай, нового кавалера мучить прежними фобиями. А, может, просто не очень-то он ей и нравился...

Прошёл год или чуть больше. Андрея познакомили с родителями и друзьями, часто ездили на дачу, жили уже почти вместе. Словом, назревал официальный развод с мужем. И тут случилось...

Вот с тех пор, как тогда всё это приключилось, народная молва и по сей день так и слывёт: «Ленка родила от лося!»

«Как это?»—спросите вы. «А вот как»,—ответу вам я, не таясь...

Лето было в самом разгаре, смеркалось. Асфальтированное шоссе вилось через лес. Они ехали на этих самых его Жигулях с дачи в Москву. Лось выскочил из леса со стороны пассажира и сразу попрыгал вперёд башкой и рогами, тараня отечественный автомобиль. Когда журналист очнулся, лось уже убежал, оставив клочья шерсти и разбитые стекла по всему салону. Крыши над головой не было, её он, наверно, унёс на рогах. Но самое страшное—это Ленка. Она с запрокинутой головой и вся в порезах сидела в кресле пассажира... Дыхания нет, из носа две струйки крови. Андрей оказался не такой уж и пресный. Он со всего маху пару раз двинул любимой ладонью по щекам, и начавшее было коченеть тело задышало...

Скорая помощь доставила пострадавших в областную больницу. Мужчину отпустили, приказав лежать дома три дня и никуда не выходить, женщину госпитализировали до

выяснения последствий травмы.

Олегу в Берлин сообщили поздно вечером. На другой день он прилетел, бросив все дела за границей, и появился в палате жены с бледным и перепуганным лицом. Они не виделись больше года. Обоим было уже за тридцать, но они обнялись, нашли в клинике закуток и совершили эпохальное соитие!...

Олег улетел на другой день. Жену выписали через неделю. А спустя месяц стало понятно, что Ленка беременна.

Естественно, что все, кто знал, а знали многие, решили: беременность наступила от сохатого. Ведь как долго Андрей был в отключке после удара никто не знал, да он и сам точно ничего не помнил. А за время простоя, сами понимаете, всё могло быть.

Так Ваня через девять месяцев и родился. «Чудо!» – скажете вы. «Нет!» – отвечу вам я. Это, конечно, стресс и гормональный выброс... Но чудесный элемент всё же в том был.

И вот теперь – этот когда-то чудесным образом родившийся мальчик сам родил, если так позволительно выразиться. И хоть чуда тут не было вовсе, но на душе всё же сделалось как-то чудесно.

Родилась девочка.

И сразу вдруг всё сложилось и стало понятно: как быть, что делать и кто она – Ленка сама – в этой жизни. Прямая линия от точки рождения маленького существа протянулась и пролегла через бабушку, отправившись куда-то дальше,

дальше, и дальше...

И дальше...

Мутанты или как выйти из лабиринта...

Поезд был дневной. Мы оказались попутчиками в Москву в одном купе. Я вошёл на Лазаревской, а он уже ехал из Адлера в столицу по рабочей командировке. Через час познакомились и попривыкли. Я достал курочку гриль и пол-литровую бутылку домашнего красненького сухого, купленную на рынке при станции. Он тоже вскрыл и развернул своё: солёные грибочки, огурчики в баночках, котлетки, картошечку в мундире и коньячного «мерзавчика».

Мне тогда было тридцать, а он, пожалуй, постарше – лет сорока. Лицо правильное, взгляд внимательный с небольшим прищуром и сразу вызывающий доверие.

Решили, что коньяк – напиток совсем уж десертный и подождёт. Приняли по стаканчику вина, закусили, и я пошел курить. Через полчаса, когда уже поели и выпили ещё по сто пятьдесят, я отправился на очередной перекур... Затем открыли коньяк и, уже не закусывая, попивали его совсем понемногу до самой ночи. Он не курил, а я, будучи человеком зависимым, то и дело ходил в тамбур и там дымил и дымил.

Наконец он спросил:

– Не мешает?

– Чего – курево? – уточнил я.

– Ну да... То, что ты не пьешь, я и так вижу.

– Мешает, конечно: голос садится, кашель, а мне петь.

Это эстрадники курят и поют. Особенно хорошо им курить и петь под фонограмму, – пошутил я.

– Да, ты когда сказал, что в «Гнесинке» учишься, то я удивился: как так, ведь голос страдает...

– Страдает. Даже пневмония была. Не пел год. А как бросить? – Привязался.

И тут разразился он длиннющим монологом, и подпал я тогда будто под какой-то гипноз. Говорил мой сосед чрезвычайно эмоционально, словно хотел вложить мне свои мысли и чувства прямо в мозги:

– Когда-нибудь, рано или поздно, но почти все мы хотим бросить пить или курить, или мечтаем похудеть.

И бывает это всегда так: повоевал, отчаялся, разочаровался... Ну и снова принялся пить, курить и обжираться.

Почему же ничего у нас не получается? И почему каждый следующий подход или новая попытка перемен приводит лишь к обречённому унынию и раздражению на себя, близких, да и на весь мир? Так ведь?!

– Да, точно так, – прокурлыкал я.

– Так почему всё так грустно то?! Да всё потому, что надо не просто захотеть, и как-то там поднапрячься, а в корне перенаправить подход к самой проблеме и даже, более того, во-все изменить отношение к своей дальнейшей жизни и судьбе.

Необходимо однажды вдруг ужаснуться и понять, что если так будет продолжаться и дальше, то там – неподалёку, за очередным поворотом этого лабиринта – ждёт тебя печальный тупик и бесславный конец! И потому долго продолжать так жить и преумножать неудачи будет ошибкой, и ошибкой фатальной! Поспеши измениться, друг мой! И измениться как можно скорей!

Ни диета, ни ограничения с мучениями на месяц–другой не помогут. Всё должно быть именно по-новому, окончательно и навсегда. День за днём.

– Ну и как же это по-новому? – спросил я.

– А вот как...

Он замолчал и вдруг перешёл к совершенно другим интонациям: саркастично–безжалостным и даже беспощадным:

– Во-первых...

Надо ясно и безоговорочно уразуметь, что ты, дорогой друг, стал мутантом! Ты давно не в себе! Ведь только мутант чувствует себя полноценно и «в своей тарелке», когда покурит, нажрётся или зальёт глаза водкой, пивом, вином, коньяком. Ты же родился нормальным, совершенно цельным и независимым от табака или алкоголя! А что сейчас? А вот сейчас ты – оно – такое ужасное и мерзкое слово, определяющее твою нынешнюю сущность – МУТАНТ!!!

– Не, ну я ж почти не пью, я только курю, – было возразил я. Но он напирал, и было неважно, пью я или нет, всё это касалось любого порока. И он на всех парусах продолжал:

– «Я – мутант!» – такие осуждающие и обличающие мысли должны стать для тебя очевидны до их осязательного чувствования.

Во-вторых...

Если решил не обжираться, бросить пить или курить, то еда, алкоголь и сигареты должны находиться в лёгкой и прямой доступности. Ведь не пить и не курить – твой свободный волевой выбор. Никакого насильственного ограничения или запрета! В любой момент ты можешь выпить, закурить или наестся «от пуза», но ты (!) при всей полноте и свободе выбора этого не делаешь... Ты волен как поступить – делать или нет... и осознанно не делаешь! И тогда в своих глазах при таком величии свободной воли своей ты возрастаешь, будто на дрожжах! Ты герой! Ты герой для себя самого, ты это чувствуешь и знаешь, и уже ничья оценка или похвала тебе не нужны. Ты самодостаточен и волен!

Ты меня понимаешь?!

– Дааа! – почти заорал я.

– И третье...

Не надо бороться с собой и своими пороками, слабостями и недостатками, а необходимо как бы забыть о них и отстраниться. И тогда они перестанут существовать сами собой. Ты же навсегда и без всякого нажима принявший самостоятельное решение начнёшь удивительное перерождение... Нет, не так! Ты начнёшь возрождение! Твоё нынешнее решение – Истина, а всё то, что или кто потом будет тебя соблазнять

отклоняться от Истины, есть дьявольский соблазн и бесовской посланник. Ты так его и назови! Но можешь придумать своё и обозвать иначе.

Понимаешь меня? Понимаешь?!

– Да...

– Не объявляй страсть свою или порок свой врагом своим и не тягайся с ним, как со стопудовой штангой. Борясь с пороком, мы определяем его как врага и укрепляем его, а значит, он есть. А должно сделаться так, что его как бы и нет вовсе... И вот только тогда он начнёт от тебя трепетать. Пройдет время, и его просто не станет. Он не выдержит и не перенесёт такого равнодушного и даже пренебрежительного к себе отношения. Он отвернется и отойдёт... и пойдёт прочь, и жалобно заскулит, и где-то там – далеко в лабиринтах – умрёт совершенно безболезненно и незаметно для тебя. Ты его не признал за врага, отделил от себя, отправил вовне... и тем самым победил его внутри себя...

Ты понял?!

– Понял.

– И вот лишь когда минуют первые препоны и заморочки, тебя понесёт в нужном и стремительном русле. Отдайся этому потоку и береги его течение. Каждый прожитый день носи в копилку своей воли и тогда, чуть поз-же, не сразу, но ты вернёшься к себе прежнему. Именно к себе, тому – настоящему!

Запомни...

Он утомился, и мы вскоре легли спать. Я сразу провалился. Снов никаких не было. Только звучал его голос и по кругу, и по кругу – не столько мысли, сколько чувства и смысл.

Проснулся почти перед самой Москвой. Он уже сидел одетым и внимательно смотрел на меня, видимо, ожидая пробуждения.

Я быстро собрался, сбегал в туалет и покурил. Когда затянулся, то вдруг почувствовал, что делаю что-то не то. Ну да рассуждать было некогда, и я пошел в купе.

Вышли на перрон и пошли в сторону метро: он на стоянку такси, а я – под землю. Пожали руки, и тут он на прощанье: «Не забудь решение своё подкрепить самым высоким для себя символом! – затем улыбнулся и отчасти пошутил. – Счастливого возвращения и удачи тебе – МУТАНТ!»

Вот вроде и всё.

Но я не написал о самом главном. С чего тогда началось моё возвращение...

А начал я его через несколько месяцев усилием воли в полночь на Пасху с субботы на Воскресение. Дождлся полуночи, поел, выпил рюмочку водки... И, обращаясь к Нему, внутри себя сказал:

«Вот Тебе мой подарок – не курю я больше! И не предаю слова своего». И лёг спать.

И не закурил...

А то, что попутчик мне тогда внушил, помнил всегда. Дал

он мне тот самый ключ и механизм, который помог всё довести до конца и победить.

А, может, и не попутчик он был.

Но не курю я с того года больше тридцати лет.

А недавно и с обжорством так же покончил. Пить, никогда много не пил – это не про меня. Но кому-то, наверняка, и от питания поможет.

Дерзайте!

Наташка

Первые полтора года своей жизни я жил в доме один на Ленинском проспекте напротив метро Октябрьская. Это там, где сегодня институт В. В. Жириновского.

Мой дом сломали ещё в начале 70-х. Он был четырехэтажный, внутри дворик со скамеечкой и немного зелени. Помню я себя приблизительно с года. Конечно, не всё, но многое...

Девочку из соседнего подъезда звали Наташа. Мне чуть больше года, она на пару лет старше.

Меня кто-то научил на вопрос: как кричит барашек? – отвечать страшным, хриплым и протяжным бляением. А на тот же вопрос про корову – гулко и громко мычать. Мы были во дворе, когда Наташка, увидав, как я лихо отвечаю на эти несложные вопросы взрослых, решила тоже меня проэкзаменовать и задорно спросила:

– А как кричит барашек?

Я, будучи уже разогретым неоднократными пробами, что есть силы заорал: «Бяаяая!»

Наташка весело засмеялась, чем меня очень порадовала, и спросила про корову.

– Мммууууууу! – замычал я вдохновенно. Девочка закатилась со смеху. Не дожидаясь следующего вопроса, я стал попеременно, всё громче и воодушевлённой то блякать, то му-мукать. Чем больше я орал, тем заливистей ухахатыва-

лась моя экзаменаторша... Она от смеха уже сгибалась пополам, а я всё наступал и остервенело продолжал реализовывать свой порыв актёрского мастерства, изображая то корову, то барана...

И вдруг Наташа изменилась в лице – оно сделалось сначала испуганным, а потом девочка и вовсе горько и безудержно зарыдала.

Подбежала то ли её мама, то ли тётя:

– Что, что с тобой?

Наташка набрала воздуха и проревела:

– Я опиисаалаааась!

Я был так потрясён внезапной переменой настроения, что запомнил эту историю на всю жизнь.

* * *

На фотографии мы с Наташей на скамейке в том самом дворике, приблизительно в то самое время. Я помню, как фотограф просил меня обнять и поцеловать девочку.

Что я и сделал.

Мне очень нравились её пушистые волосы... Очень!

Где-то она сейчас?

Не знаю даже фамилии.

Эх!

Не убий...

Мне было почти 14 лет, когда по туристической путёвке нас детей-подростков, мальчиков и девочек, всего человек двадцать, отправили в Литву. Поездка была от маминой работы сроком на неделю в сопровождении нескольких родителей.

В плацкартном вагоне поезда мы занимали почти все полки. Никто никого не знал. Я ехал сбоку в конце вагона, хорошо всё видел и невольно наблюдал за всем происходящим. Но ничего особенного не случилось: поезд стучал колёсами, пассажиры время от времени то ели принесенные из дома продукты, то ходили мимо меня в туалет. Ехать было недолго, только одну ночь.

Ещё на вокзале я увидел всех девочек (меня уже стали очень интересоваться девочки), но ни одна из них мне не понравилась. Была ещё совсем холодная весна, каникулы. Одежда скучная, всё серенькое: бесформенные куртки, ботиночки, да шапочки с помпончиками.

Итак, лежу я на нижней полке, смотрю... И тут через один плацкарт со второго яруса высовывается голова, и девушка начинает гребнем расчёсывать свои длинные, густые, русые волосы, которые спадают и достают почти до пола. «Ого! – думаю я, – какие красивые! Чьи они и кто это?» Девушка показалась совсем взрослой и какой-то очень знакомой. До неё

было всего метров пять, и я разглядывал её украдкой, стараясь не таращиться. Она спрыгнула на пол, сложила и ловко прибрала волосы в пучок под гребешок. Чем дольше я глядел, тем больше она мне начинала нравиться. Глаза её буквально лучились, она, видимо, тоже меня заметила и иногда взглядывала, но тотчас переводила взгляд прочь. Я смущался, она, наверно, тоже, но была смелее, и потому начала улыбаться. Легко запрыгнула наверх, легла на полку и высунула голову в проход. Я увидел в её руках большой альбом и карандаш.

Забегая вперёд, скажу, что она оказалась на год младше меня, но выглядела старше своего возраста года на три-четыре, впрочем, как и я. Высокая, стройная, с чрезвычайно выразительным и эмоциональным лицом. Про лучистые глаза я уже сказал, осталось только добавить, что они были совершенно зелёного цвета. Утром на перроне я понял, откуда её знал и где видел раньше.

– Алла, – подошла она ко мне и смело представилась первой.

– Саша, – проямлил я...

Девушка по-доброму усмехнулась, глядя на меня во все глаза.

Это была Инна Гулая – известная актриса. Ну, конечно, не она именно, а будто её сестра-близняшка, только гораздо младше.

– Держи, это тебе, – сказала она быстро и протянула вы-

рванный листок из альбома, – ты очень похож на Любшина.

На листе плотной бумаги был мой графический портрет. Алла прекрасно рисовала. Я был поразительно похож...

С тех пор, как я вышел из детского возраста и вырос, мне постоянно говорили о сходстве с известным артистом, а я и не отказывался, да и фильмы с его участием были очень популярны. Один только «Щит и меч» чего стоил!

В её таланте я убедился через несколько дней, когда каждому из группы она нарисовала дружеский шарж. Но мне-то передала портрет...

Во всю жизнь я встречал только двух настоящих художников-шаржистов. Это такой дар – почти сразу увидеть суть человека и перенести на бумагу, что для меня, до сих пор необъяснимо и почти волшебно. В армии, в роте, где я служил, был парень художник, который рисовал столь же необычно. Так вот, он все два года не служил, а только рисовал...

В последний день нашего пребывания и разъездов с экскурсиями по всей Литве в местной столовой состоялся прощальный ужин, на котором все что-то изображали. Кто читал стихи, кто пел, кто танцевал... Но не все, конечно. Если кто не хотел, то и не неволили. Я, например, много знал наизусть и театрально декламировал в тот раз Маяковского.

В финале вышла Алла и акапелла (без музыкального сопровождения) спела неаполитанскую песню «Санта Лючия». Оказалось, она ещё и пела взрослым, красивым, академиче-

ским голосом. Сопрано взлетело на последней верхней ноте так нечеловечески воздушно, что я чуть не упал со стула. Все хлопали и дивились. Алла поклонилась и почти сразу подбежала ко мне, сидевшему в конце зала у окошка, и громко, будто в угаре, обращаясь к изумлённой публике, восторженно проговорила, как бы продолжая петь: «Посмотрите, какие у него синие глаза! Я пела и удивлялась: они просто светятся синим цветом! Это, наверно, солнце так падает из окна?!» – так и сказала «падает».

Я смутился, но встал и очень похвалил девушку за песню. Удивительным для меня было ещё и то, что я тоже давно пел низким и уже совершенно мужским голосом песни и арии, но только дома и когда никого не было рядом. Стеснялся я своего голоса... А вот она – пела так откровенно, с таким удовольствием и радостью!

Прощальная программа закончилась. Алла сияла от моих комплиментов... Мы, отойдя в сторонку, впервые поговорили о том, как друг другу давно нравимся..., как ещё тогда, в поезде, с первого взгляда... и как я заметил, что она смотрит на меня, и она видела, что я подглядываю за ней... И... и... и...

Как же всё это было чудесно! «Неужели такое возможно, что такая красивая, талантливая и на вид совершенно взрослая девушка могла мною заинтересоваться и даже более того!» Симпатию мы не афишировали и обратно в Москву ехали, лишь переглядываясь, как и по дороге в Вильнюс.

Оказалось, что и живём-то мы совсем рядом, всего в десяти минутах ходьбы друг от друга! Сплошные схожести и совпадения! Надо же! На следующий день по приезду мы встретились. Я тогда уже много читал и рассуждал о жизни, прям как взрослый. Мы часами ходили, гуляли, я что-то рассказывал, и всё то, что я говорил, ей очень нравилось. Меня это бодрило, но только в смысле невинных отношений. За все три месяца мы так даже и не поцеловались. Я боялся (опыта не было никакого) и чуть что, переключал тему и ситуацию на что-либо умное и возвышенное. Надо сказать, что был я достаточно ироничен и незанудлив, но тут робел. Девушка же в этом смысле была без претензий, но чего-то более того всё же, наверно, ждала, смотрела прямо в глаза и слегка улыбалась... Сама, рассказывая что-либо мне, она прекрасно изображала в лицах, имитируя диалекты, дефекты и особенности речи пародируемых персонажей. Даже сегодня, вспоминая её, я считаю, что это была идеальная для меня девушка и внешне, и по характеру, и по уму, и темпераменту, и эмоциям. К тому же она была, очевидно, талантливее меня. А я не боялся тогда, не боялся и позже, не боюсь и сегодня талантливых и красивых женщин, всегда ими восхищаюсь, и никогда не пытаюсь с ними конкурировать.

Мы ещё и совпадали во взглядах на всё, что обсуждали... Или мне так казалось?... Сейчас уж и не знаю. Однажды я зашёл за ней домой. Увидел там её отца, какого-то пьяного, в майке и не говорившего, а рычащего, будто наш будущий

демократический президент. И маму я тоже увидел... Мама была измученного вида женщина с жалостливым и прибитым выражением лица. Но с её родителями я жить не собирался, и следа это знакомство во мне не оставило. Мы гуляли, говорили, ходили в кино, учились, делали уроки каждый у себя дома, и ещё она иногда звонила из уличного телефона-автомата (своего у неё в квартире не было) мне на домашний телефон. Так продолжалось до июня, пока не наступили летние каникулы и меня не отправили с бабушкой в деревню под Тулу. Ездил я туда каждое лето. Заезжали на заказанном с маминной работы автобусе, который тащился час по Москве, часа три по трассе, да шесть километров по внедорожью. Можно было и не доехать.

Там в деревне были на двадцать домов одиннадцать местных мальчиков-одногодок и ни единой девочки-ровесницы. Это была своя, отдельная от московской, жизнь. Наша футбольная команда ездила на велосипедах по соседним деревням и безжалостно всех громила в эту популярную во всём мире игру. С середины июля начинался покос, и футбол отпадал до конца августа. Ну, конечно, оставалась ещё и рыбалка, и хождения по ночам, за каким-то чёртом, в соседние деревни; в жару – купание, в лесу – грибы и ягоды. Да много чего...

Не помню, как мы перед отъездом расстались с Аллой. Помню только, что в этот раз через три дня пребывания на природе я понял, что ещё день, и я сдохну. Оказалось, я так

влюбился, что жизни мне совсем теперь не было. Мобильников тогда ещё не производили, а ближайший переговорный пункт с телефоном – за двадцать километров. Да и куда звонить? И я придумал обмануть бабушку, зная, что моё чтение, и особенно чтение вслух, было для неё святое. Так вот, на это – самое святое – я и надавил... Утром, подавившись бутербродом с чаем, я раскашлялся, затем хлопнул себя ладонью по лбу и сквозь натуральные слезы сдавленным голосом просипел:

– Бабуль, я забыл дома книги. А нам к осени «Войну и мир»... А там четыре тома! А ещё и «Обломов»!

Бабушка перепугалась больше меня, и мы стали думать вместе, как быть. Через пять минут я мужественно заявил, что еду в Москву за знаниями и книгами один, самостоятельно – автостопом. Поеду срочно, не откладывая, пока сухо и дождём не размочило шесть километров до трассы, и можно дойти пешком. Бабушка помолилась, дала мне полтора рубля на дорогу и я, озабоченный отсутствием в глухой деревне великого произведения Льва Толстого, отправился в путь.

Я не мог идти, мне не терпелось, и я бежал почти весь путь до асфальта. Благо, почти всё детство я занимался лёгкой атлетикой, и даже грунтовка меня не смущала. Через час на трассе за рубль я «поймал» рефрижератор и ещё через два был высажен на кольцевой дороге. Далее автобусом до метро, затем с двумя пересадками до станции Профсоюзная,

опять бегом домой в душ, и сразу, тоже бегом, до её дома. А там уж спокойно, чтобы сердце не вылетело от волнения, по лестнице без лифта на верхний пятый этаж...

Пока я ехал, то двести, или триста, или тысячу раз прокручивал в голове, как обниму её, поцелую и наговорю всё самое нежное, что только придёт в голову о том, как мне было невыносимо тяжело прожить эти три дня, как я не сумел бы дожить даже до следующего утра... И никакое стеснение, никакой страх или глупая ненужная скромность не помешают мне вывернуть всю свою душу наизнанку и наконец, открыться и раствориться...

Всё... всё... всё – так и случилось! Я ворвался домой, влез под душ и через секунду выскочил из ванной... Ещё через минуту переоделся и, застёгиваясь на ходу, выскочил из квартиры и побежал к её дому.

Прежде чем нажать на кнопку звонка в её дверь, я отдышался и представил, как она сейчас удивится и воскликнет... И тут почувствовал такое уж совсем тяжёлое, неприятное и тянущее «нечто» в солнечном сплетении.

Дверь открыла её мама. Я спросил про Аллу. Она посмотрела на меня испуганно и растерянно сказала: «А она где-то тут – во дворе или в сквере на Дмитрия Ульянова гуляет...» Я слетел по лестнице вниз и, выйдя из подъезда сразу увидел, что во дворе никого нет, да и не было. Когда я ранее вбегал во двор, то наверняка бы её заметил. Побежал в сквер. Он длинный, с километр или больше. Ближе к дому – нико-

го. Но вроде вон там, посреди сквера, вдалеке на скамейке сидит какая-то группа, но не видно кто... Я пошёл туда и по мере приближения понял, что это – то самое, что искал, но в какой-то странной и совершенно неподобающей всему моему состоянию ситуации. Диссонанс был абсолютный. Алла сидела ко мне спиной и не видела меня. Рядом были трое взрослых парней, и все дружно ржали, как жеребцы, над какими-то шутками. Один из них положил руку на её плечо, приобнял и заливался громче всех. Молодые люди были по виду уже после армии, эдак лет по двадцать с хвостиком. Я всё до конца не верил, что это она, и продолжал подходить ближе. Один из них, увидев меня, идущего довольно странно и, наверно, ещё и с вытянутой физиономией, удивлённо спросил:

– Парень, ты чего?

Тут оглянулась и Алла. Увидав меня, она резко сбросила руку, которая её обнимала, вскочила и ещё более растерянно, нежели её мама, произнесла совершенно потерянным голосом в никуда:

– Ой... А это Саша... Саша, это мои друзья, познакомься... – и начала было идти ко мне.

В лёгкой атлетике много лет я специализировался на спринте. Участвовал в различных соревнованиях и даже собирался всерьёз стать профессионалом. В этот день я бы выиграл любой забег.

Не как от чумы, а сам, будто чумной, да ещё и бегущий

от пчелиного роя, я развернулся и помчался от Аллы прочь через газоны и автодороги, не глядя на светофоры и едва огибая машины и мирно идущих пешеходов. Несмотря на то, что каждое лето моё проходило уже многие годы в деревне, где мат был всегда нормой общения почти у всех, считая и женщин, и детей, да и в московском нашем дворе и даже в школе лингвистов и филологов мало кто уважал, – так вот, – несмотря на всё это, я матом не ругался. Не ругался принципиально. И даже в этот трагический час, пробежав уже минуты три, я на каждом выдохе без конца повторял с горьким чувством только одно слово: чёрт... чёрт... чёрт...!!!

Прибежал домой и бухнулся на диван. Позвонила Алла. Я сразу повесил трубку. Вечером пришла с работы мама и очень мне удивилась. Дома в Москве я прожил дня три, как с бабушкой и договаривался. Алла звонила каждый день по десять раз. Я иногда трубку не бросал, но молчал и слушал. Она плакала, объясняла, что это были ребята из её двора, пришедшие из армии, которых она знала с детства... Всё было напрасно. Меня будто заперло. Я не хотел над ней издеваться, просто не мог говорить. И уехал обратно к бабушке.

Через пару месяцев я вернулся из деревни в Москву, и уже до следующего лета. Надо было готовиться к школе. Толстой был честно прочитан. Но и Наташа Ростова не растопила моего одеревенения. Алла продолжала иногда звонить. Даже звонила её подруга, с которой она меня познакомила

в то счастливое время наших отношений. Подруга деликатно уговаривала и объясняла ситуацию, но у меня как опустело всё тогда в июне разом, так и не наполнялось.

Встретил я Аллу только один раз в метро. И было это лет через пятнадцать. Захожу в вагон, сажусь. Напротив сидит полная женщина с несчастным, измученным лицом. Смотрим друг на друга. Я вроде узнаю, но не могу поверить... Она же встаёт первая, подходит ко мне и говорит:

– Я наверно сильно изменилась, – и почему-то прикрывает рот рукой, – не узнаёшь?

– Я понял, что это она и встал...

– Нет – узнаю, конечно... – почти соврал я, – Привет, Алл! Как ты?

– У меня трое детей, муж пьёт. Вот – зубы выбил. Надо вставлять, а денег нет, – она убрала от лица руку и улыбнулась почти беззубым ртом. – Он то работает, то не работает. Сам-то как?

– Работаю. С радио и космосом связано, и вот ещё и пою. В Гнесинку поступил.

– Да ты что?! – искренне удивилась она, – какой молодец! Да, я помню, ты тогда мне показывал, как поёшь... Здорово-то как!

– Она так откровенно была за меня рада, что мне стало горько и жалко её со всей этой такой несправедливой жизнью. Как всё это могло произойти?! Как?! И главное, что ведь, наверно, ещё и я со своей дубовой принципиальностью

и чистоплюйской ранимостью поучаствовал в этом раскладе! Может, пошло бы у неё иначе? Впрочем, может, иначе пошло бы у меня... Теперь уж не понять, не разобраться.

– Дети – это хорошо... – только и нашёлся сказать я. – А ты поёшь?

– Какой там! Я курю, как паровоз, – и она снова улыбнулась, уже вовсе не прикрывая рот рукой и показывая мне свои три или четыре оставшиеся зуба с жёлтым налётом от табачного дыма.

Опять не помню точно, как мы расстались. Кто-то из нас первым вышел из вагона, да ведь это и не важно. И зачем вообще все подобные воспоминания? Но случается вспышка, и начинают одно за другое цепляться и оживать события, казалось бы, давно позабытые и припорошенные. У всех так бывает, наверное...

Но самое главное: мне открылось тогда, да и сейчас я так считаю, что древняя заповедь из Евангелия: «Не убий», – была сказана Христом не только о физическом убийстве, но и об убийстве в человеке любви. А сделать это могут и случайные обстоятельства, и невольный поступок, и не к месту сказанное слово, и, самое страшное – безответное молчание.

О друзьях-товарищах

Иду я как-то летом по улице, где прошло моё детство, а навстречу мне «Арбуз», парень из параллельного класса школы, где я давно отучился. Так его прозвали, хотя настоящие имя и фамилия были совершенно нормальные. Даже не берусь объяснить, отчего он был так обозван: не круглый, не красный, не в полосочку, но настоящее имя его – Женя – почти никогда почему-то к нему не применялось.

Впрочем, берусь!

Я, кажется, вспомнил, в чём дело: классе в седьмом он постригся налысо и с тех пор так и поддерживал редкую по тем временам причёску, ну, может иногда и запуская её до лёгкого «ёжика». Евгений не был моим близким другом, но знались мы неплохо, а потому расскажу на его примере, что порой бывало на душе и в голове у некоторых молодых сверстников наших.

Светловолосый Женя был гармонично и спортивно сложен. Первое место в спринте на чемпионате Москвы в четырнадцать лет просто так не займёшь... Но это было давно и прошло... Несмотря на большие перспективы, лёгкую атлетику он забросил.

Запомнились мне произошедшие с ним тогда два эпизода, которые моего товарища очень ярко проявляют...

Случился в те годы затяжной многолетний конфликт у нас

с Китаем. Началось всё очень серьезно с острова Даманский и потом тянулось и тянулось. Женя был так возмущён этой историей, что пару раз ходил на демонстрацию к Китайскому посольству и кидался там пузырьком с чернилами в знак протеста и несогласия с политикой соседней страны. Из наших никто туда не пошёл, и только он не просто возмущался, но и действовал.

Или вот ещё чуть позже. Увидел он по телевизору, как на одном из хоккейных матчей московской серии СССР – Канада легендарный нападающий Фил Эспозито показал жестом, что перережет горло то ли всей нашей команде, то ли судейской бригаде. Женя понял, что теперь у него в жизни появилась миссия. Возмущению и обиде не было предела. Невероятным образом купив билет на один из следующих матчей этой же серии, юноша отправился на стадион в Лужники. Но поход был затеян не ради наслаждения хоккеем... «Арбуз» туда пошёл с половинкой белого силикатного кирпича, замотанного в тряпочку и спрятанного за пазуху. Целью было пробраться к скамейке игроков сборной Канады и этим самым кирпичом двинуть по лохматой башке наглому хоккеисту, оскорбившему не только советский спорт, но и весь советский народ. Жизнь Фила Эспозито висела на волоске... Мировое спортивное сообщество двигалось к скандальной катастрофе! Мы, человек пять, посвященные в героическую затею нашего товарища, как и все граждане великой страны, прильнули к телевизионным экранам. Шла прямая трансля-

ция матча, на который отправился, мрачно попрощавшись с нами, герой–мститель. Мне было не до игры. Я, наверное, как и все наши, ждал совершенно иного...

Фил Эспозито раз за разом выкатывался на ледяное поле, играл, уходил на смену, сидел, отдыхая то на скамейке запасных, то рядом, за калиткой штрафников. И всё это без защитного шлема! Так и виделось, как где-то там среди зрителей должен был красться народный герой–комсомолец «Арбуз». Сердце, конечно, гулко билось в тревоге и волнении: и за Женьку, и за хоккей, да и за всё вместе.

Матч закончился. Трагических сообщений не поступало. В программе «Время» тишина.

Фил остался жить.

На другой день смущённый «Арбуз» с отчаянной грустью рассказывал, как менты остановили его ещё в проходе за три ряда до скамейки с игроками и дальше не пустили. Герой заходил и с другой стороны, но всё неудачно. Не кидаться же кирпичом с десяти метров... Да и не попадёшь. За неудавшееся покушение мы его не корили, он и сам переживал больше всех.

Вот такой был парень: самостоятельный, бескомпромиссный и способный на поступок.

После армии прошло лет пять, и я, как уже написал выше, случайно встретил его на улице. Мы радостно приобнялись. И тут вдруг Женя сходу выдал, что он уже целых два месяца то ли живёт, то ли просто встречается с некой жен-

щиной, и у них где-то там – всё нормально, и даже более того, хорошо! Изумление моё вызвало то, что «Арбуз» придаёт такое большое значение двухмесячным отношениям с какой-то дамой, о которой я даже слыхом не слыхивал и во все её не представляю. Он сразу начал про неё, а не про общих знакомых, друзей, работу или здоровье, на худой конец. Но был такой радостный и приподнятый, будто ему ударника социалистического труда присвоили. Правда, в воздухе витал лёгкий дух спиртного, и он курил, курил, курил... Мне ничего не оставалось, как тоже вместе с ним за него порадоваться. Больше я его не видел... Никогда.

Прошло пару лет, и следующее известие о Жене оказалось трагичным: он прыгнул с балкона седьмого этажа. Наверно, был все же излишне нервным, реактивным и вспыльчивым... Наверно...

А может, попал не в своё время: не приложился, как и где хотел, или не нашел то главное, что было рядом.

В спокойные и мирные времена подобные люди, если не реализуют себя, делаются всегда лишними и неудобными, но в кризисы и на поворотах мигом захватывают лидерство, активировав и возглавляя революционную бучу, словно всю жизнь только того и ждали. Редкий был человек, не зря в свои годы быстрее всех бегал стометровку.

Но не вписался.

Часто фатальные проблемы, затмевая рассудок, возникают именно из-за неудач в личной жизни.

Наверно, многое определяет присутствие или отсутствие у человека выраженного таланта. Его наличие вызывает смятение и тревоги сложности выбора: «Быть или не быть...»

Но ведь не всё хорошо и у многих даже состоявшихся талантов. Нет семьи, детей, хотя есть множество почитателей, и ещё при жизни оставлен культурный, спортивный или научный след. Они подвижники, и, конечно, поставили на кон всё: и семью, и покой, и материальное благополучие. Стоит ли того подобная жертва, решает каждый для себя сам. Но я так думаю, что если есть Божья искра в чём либо, то уж тут-то выбора и нет.

Но не всем сверхзадачи решать. Можно как и почти все мои друзья детства благополучно жениться и просто жить.

Иначе...

Эх, «Арбуз»! Когда б не закопал ты свой талант, лучше всех в СССР промчал бы стометровку, и не сиганул с балкона, а жил бы вместе с нами. Ведь именно сейчас пришло оно – твоё такое экстремальное и тревожное время.

О птичках

Илье Николаевичу скоро пятьдесят. У него уже давно своя фирма, где он и учредитель, и генеральный директор.

Нужно было, как обычно, подписать финансовый отчёт за полгода. И вот в полдень среди лета договорились встретиться с бухгалтером. Самая окраина Москвы. Спешить некуда, но отчего-то решил срезать и, проехав мимо длинной девятиэтажной панельки в шестнадцать подъездов, выскочить прямо на улицу Грекова к дому, где офис. Седан едва катился мимо газонов – дворик же... Но нет – пусто, никого... и дорожка совсем свободна.

И откуда только она взялась, эта ворона?! Прямо, как самоубийца, под колеса – нырь! Илья Николаевич по тормозам... Остановился. Слава богу – успел! Подождал. Тронул дальше. Вдруг под передним колесом хрустнуло, и машина перекатилась через мягкий валик. Что за чёрт?! Неужели?! Вышел из машины... Так и есть, лежит и умирает. Почему не убежала? Молодая ещё, наверно... Птенец.

Взял в руки. Ни кровинки. Так только мелко подрожала в руках и затихла...

Саперной лопаткой, которую на всякий случай всегда возил в багажнике, вырыл на газоне небольшую ямку и закопал.

Будто все силы забрала эта птичка, пока тряслась и уми-

рала на руках. Сидит Илья Николаевич в машине и ехать не может. Зачем-то позвонил знакомой из банка, совсем молодой девушке:

– Ты знаешь, я сейчас ворону раздавил. Не увидел и переехал колесом. Худо мне как-то. Жалко её, аж сил нет.

А она как заржёт!

– Да ты что? Спятил, что ли?!

Потом поняла, что не подхватила нужную волну, и начала притворно сожалеть. Зачем именно ей позвонил...? Илья Николаевич замолчал, прервал разговор и поехал дальше в офис. «Дура она, наверно... Почему раньше не замечал?»

Всё хотелось с кем-то поделиться, но как? Выходило, что и впрямь, как в известном фильме, мол, «птичку жалко» – будто сбрендил. Наверно, надо в таком случае рассказывать с самого начала, с той самой синички... Иначе никак не понять.

А было это ещё тогда, в детстве...

Наступило лето и долгожданные каникулы. Илюшу отправили в пионерский лагерь под Калининым (ныне Тверь). Корпуса стояли прямо среди хвойного леса. Детей, конечно, не могли занять играми или соревнованиями от подъёма до отбоя, и потому много времени оставалось на безделье. Кругом валялись еловые и сосновые шишки, и мальчик, развлекая себя, кидался ими в порхающих по ветвям веселых синичек. Пару недель шишки летели мимо: то в веточку, на которой сидит птичка, попадёт, а то и вовсе в стороне про-

свистит...

В тот день проводили соревнования по стрельбе из духовушки и Илюша занял первое место.

Дело в том, что уже несколько лет, начиная с мая и почти по всем воскресеньям, как только открывался тёплый летний сезон, они с бабушкой ездили гулять в парк культуры имени Горького, что возле метро Октябрьская в Москве. Чего там только не было... И вёсельные лодки, плывущие в таинственных прудах с камышом и лилиями, и орудие на различных каруселях и горках дурашливые экстремалы, и зеркальная комната смеха, и лабиринты страха. Конечно, очень интересен и соблазнителен был аттракцион с электромашинками, беспорядочно бегающими по замкнутому резиновому корту и гордо рулящими в них детьми. Но подобное удовольствие было очень дорогим, и бабушка бы на него денег никогда не дала. Впрочем, можно было постоять минут десять рядом и порадоваться счастьем других.

Мимо лотков с пломбирами и эскимо, конечно, проходили даже не глядя... Ангина – Илюше нельзя...

И наконец – вот и ОН! Тот самый, из-за которого уже за пару дней так сладко стучало сердце, будто по телевизору покажут любимый мультик или игру в хоккей, где наши бьются с Чехами или Канадцами. ОН – это уличный тир возле «чёртова колеса». Да-да, он располагался именно там, чуть сбоку! Бабушка всегда давала деньги на стрельбу, однажды решив, что это и есть настоящее занятие для мальчишка, а не каки-

е-то там фальшивые резиновые электрические автомобильчики... А мальчик с надеждой испрашивал тридцать копеек, покупал десять пулек, бережно вкладывал каждую в нужное место в духовушке и стрелял, стрелял, стрелял... Стрелять нужно было в движущиеся металлические фигурки диких и домашних крупных животных, маленьких зверьков, летящих птичек и в обычную круглую спортивную мишень. С бабушкой был уговор, что если за неделю Илюша приносил из школы больше трёх пятёрок, то за каждую дополнительную отличную оценку полагалось плюсом ещё пять копеек на стрельбу. Так всегда и бывало: бабушка держала слово, неизменно выделяя финансы, и, стоя неподалёку сказочной волшебницей, тихо переживала за внука.

Через год Илюша выбивал уже всех бегущих зверей и летящих птиц, а если стрелял в мишень, то набирал из ста не менее девяноста очков. И каждый раз это была личная победа и маленький праздник! Ведь как же здорово быть таким метким стрелком! И какая добрая и справедливая суровая с виду бабушка!

Оттого то, подготовленный таким образом Илья выбил больше всех очков и занял то самое первое место по стрельбе среди всех отрядов, став абсолютным чемпионом пионерского лагеря. Девочки умилялись, а местные деревенские мальчишки, которых было в лагере немало, «съели свои зубы» и затаили обиду. Дело в том, что они уже успели рассказать, что много раз стреляли из настоящих ружей, а некоторые да-

же ходили со взрослыми на охоту и чуть ли не попадали белке в глаз. Илюшу торжественно наградили грамотой за победу в соревновании. Он был счастлив и горд необычайно.

До обеда оставалось ещё полчаса. Илья побежал к любимым соснам и ёлкам, подобрал шишку, взглянул вверх, увидел над головой синичку и... За долю секунды он понял, что попал. Синичка свалилась по диагонали от ствола, трепеща крылышками. Мальчик быстро подбежал и, чтобы не упустить добычу, наклонился и прыгнул, как в воду, накрыв летунию обеими руками и телом. Птица мелко дрожала и лететь никуда не собиралась. Её головка медленно склонилась набок, через минуту она затихла и умерла...

Как всё просто и пусто. Такое разочарование и никчемность. Столько дней охоты, азарта, желания попасть в цель... И вот так всё странно закончилось. Казалось, что, сбив синичку, можно будет с ней подружиться, погладить её или покормить... и, конечно, отпустить. Но нет, ведь ясно же, и надо бы давно понять, что это невозможно! Как было такое натворить! Илюша оглянулся по сторонам – никто ничего не видел. Он суетливо руками собрал хвою, а веточкой, которая все время ломалась и становилась всё короче, вырыл мелкую ямку и, положив туда ещё теплую тушку, прикрыл её хвойными иголками. Стало очевидно, что произошло нечто непоправимое и позорное. «Никто никогда об этом не узнает», – подумал Илья, и сразу стало спокойнее.

Даже показалось, что и вовсе забылось...

Прошел год. Илья с дядей Володей летел на самолёте в Геленджик, и вот в самолёте опять, в который раз за год, вспомнил. Надо же...

Илюше исполнилось 12 лет. Он сильно вырос и буквально за год стал длинноногим, костлявым и неловким. Да что там за год – за зиму к весне прибавил чуть ли не двадцать сантиметров. Когда в очереди в кассу гастронома он услышал: «Молодой человек, Вы последний?» – то сначала и не понял, что обратились к нему. Смутился, но вида не подал.

Две недели: море, горы, вечерний теплый тревожный воздух и камешки. «Гальку» по волнам пускали все: и взрослые, и дети. Искусно брошенный камень стремительно летел по волнам, перескакивая и скользя с одной на другую, пока не тонул, ослабленный и убаюканный нескончаемыми препятствиями. У Ильи, наверно, от природы был очень пластичный кистевой бросок. Камешек, если он был ещё и увесистым, и одновременно плоским, иногда подпрыгивал меж волнами, аж до семи раз! «Какой я ловкий!» – думал мальчик о себе и становился увереннее и взрослей.

В конце июня вернулись в Москву. Илья хорошо загорел, окреп и даже, как-то возмужал. Его ещё пару раз в разных обстоятельствах назвали «молодым человеком», а какой-то мальчик, лет пяти – «дяденькой».

Однажды по прошествии недели шёл Илья домой со стадиона, где играли в футбол со взрослыми мальчишками. Играли, как настоящие футболисты, делая подкаты и учитывая

положение вне игры. Летом в Москве ребят немного, все за городом, вот и взяли их с двоюродным братом Серёжей в одну из двух команд. Бегали они с Сергеем по полю хорошо, удивляя старших футболистов самоотверженной и слаженной игрой. Хвалили...

Илья домой даже не шел, а почти бежал, иногда подпрыгивая на асфальте от избытка сил, внутреннего восторга и неиссякаемой бодрости. Хорошо-то как!

И вот неожиданная находка... Чуть правее на асфальте во дворе кирпичной пятиэтажки лежит камень. Ого! Точно такой-же, как в Геленджике: гладкий, будто шлифованный, граммов на пятьдесят; так прямо в ладошку и просится. И откуда он здесь...? Илюша даже подскочил от удивления, и, подхватив камешек, сразу привычно ощутил в руке его оптимальный вес и размер... Но моря и волн нигде не оказалось. «Эх, жаль! Запустить бы «гальку»!

И тут метрах в двадцати от Ильи, возле самого дома ходит голубь. Обычный сизарь. Ходит себе и клюёт что-то. Причём один... Как правило, они всё кучками или парами, а тут один. И важный такой, будто царь голубиный! И шею всё вытягивает, и головку эдак на бок поворачивает, и снова клюёт. Взял тут Илюша и ловко так, одной кистью, почти без замаха, да и как пустит камень в сторону голубя...! И далеко ведь было... И не целился вовсе... Голубь за секунду поднял голову, и его глаз на мгновение встретился с глазами мальчика. Камень, описав бумерангом дугу, точно вонзился сизарю ку-

да-то в шею. Тот, как циркуль, воткнулся головой в асфальт и начал биться крыльями по кругу. Перья в стороны, будто из разорванной подушки... Агония... Илюша обомлел. «Как же так, я же не хотел! Это же случайно!»

Рядом никого. Никто не видит, во дворе пусто.

Илья, не сводя глаз с птицы, ускорил шаг и быстро пошёл мимо и прочь. Судороги становились все слабее, голубь умирал. Пройдя метров тридцать обернулся. Тот лежал тихо...

Илья Николаевич подписал финансовый отчёт, вышел из офиса, сел в свой Опель. Тоска никак не проходит, всё ноет как-то. Не то воспоминания уж больно ясно нахлынули, не то молчаливая ворона-самоубийца утянула за собой?...

Вот ведь как бывает: можно загубить нарочно, ещё по младенческому недомыслию, можно случайно, по легкомыслию и беспечности. А можно и вот так, что глупая птичка вдруг решит умереть и прыгнет под колёса, и сам ты станешь жертвой странного никчемного случая. И последнее больше всего замучает и вынет душу. И не поймёшь, кто кого убил...

И нет будущего, впереди пусто. И что-то не так в прошлом. Там тоже пусто...

А что сегодня?...

Какое ёмкое слово – «пусто».

Наверно, когда-то всё надо менять!

Может, это с годами так, что даже по касательной вина неизбежна.

Вон сосед по даче Ильи Николаевича, старенький дедуш-

ка, начал в последние годы мышей у себя кормить. Мисочку им специальную возле крыльца поставит, хлебушка покрошит, а сам стоит рядышком и любуется. И даже колорадских жуков на картофельной ботве травить отказывается. Так полюбил всё живое!

А знающие люди, которые его ещё по прежней жизни помнят, рассказывают, что раньше, до пенсии, он в убойном цеху при мясокомбинате работал.

Откровение

Никогда не вступайте в душевные или тем более любовные отношения с новым, откуда-либо взявшимся знакомым в дни смерти и траура по умершему близкому родственнику или другу!

Речь не идёт о смерти мужа или жены – это и так понятно. Я говорю об уходе отца, матери, брата, сестры или настоящего давнего друга, подруги. Здесь кроется огромная ловушка для нашего разума и психического здоровья.

Совсем недавно это стало открытием или, точнее, откровением и для меня.

Казалось бы, всё так просто для понимания, но в период поражения несчастьем вашей психике и сердцу бывает очень сложно заметить и отличить друга от равнодушного интересанта, увидеть и разглядеть недоброжелателя или даже врага.

Ловушка в том, что вам видится, будто окружение вам не помогло и не спасло от потери. Близкий человек навсегда вас покинул, а они, такие все живые и здоровые, подвели... Подвели – так и не сумели хоть чем-то помочь! Теперь же они и вовсе никак не могут его заменить. Образовалась брешь...

И тут является кто-то новый из совершенно другого мира, как Иван–Царевич или Василиса Прекрасная! Вы наделяете его качествами и талантами сказочного героя. И вся ваша любовь к умершему, и вся энергия ваша начинает перетекать

к новоявленному знакомому. Он становится для вас не просто другом, а спасителем вашим и будто бы тем самым – который совсем недавно умер... Если у вас умер отец, то появившийся мужчина перенимает в воображении черты и характер отца. Если умерла мать, а рядом объявилась новая женщина, то она как бы займет её место в образовавшейся пустоте чувств. Они не станут, конечно, и впрямь вашими ушедшими близкими. Но в них вы сами невольно переселите ту неизбывную энергию своей любви, которая, мучая вас, вдруг целиком замкнулась внутри, и нет ей исхода и места где разместиться. И вдруг, вот он – этот новый резервуар.

Далее следует фатальная ошибка вашего организма. Он (организм) обознался, пытаясь найти выход и сбросить тяжесть с души. Доверие к новичку беспредельное. И в этот сложный период объект вашей перетекшей и размещённой любви может сотворить с вами всё что угодно. Вы полностью в его власти. Ведь он, как воскресший покойник, наделён буквально божественным ореолом и пользуется вашим безграничным доверием и любовью.

Хорошо, если этот человек порядочный и честный, который не воспользуется из корыстных соображений таким несоразмерным авансом. Ну, а коли он совершенно иной и глубоко порочный, а вы к нему (к ней) вдруг, как матери (отцу) доверились и прониклись?

Но не столько злого демона вам надо бояться, как себя самого в первую голову... Ведь даже самого приличного чело-

века через пару недель ваша горячность испугает, и потому не сможет он или уже не захочет исполнять возложенные на него надежды, а с ними и обязанности. Неадекватность вашего поведения для вас сокрыта и неочевидна, в то время как для нового друга подчас странна или даже смешна. Он начинает избегать плотных разговоров и выяснения отношений, неуместного предъявления постоянных претензий, требований каких-то прав, будто вы живёте всю жизнь вместе и на эти претензии полное право имеете... Ужас! Чем больше он для вас «всё», тем мизерней и ничтожной становитесь для него вы...

Процесс мучителен и продолжителен во времени.

Попытки наладить отношения обречены на провал. Вы всё больше грузите общение ненужными тяжеловесными деталями и не можете остановиться.

Следует неминуемый разрыв и затяжная душевная зависимость от переданных полномочий незнакомому человеку и неодолимой тяги к нему.

Девять месяцев длится беременность. Девять месяцев прошло со дня моего расставания с матерью. Я специально не высчитывал дни и ничего не придумывал искусственно. Просто внезапно освободился от наваждения, и всё...

Вдруг выздоровел.

Не повторяйте мою ошибку.

Прессинг, корысть, любовь и Бог

...Однажды змея погналась за бабочкой и преследовала её день и ночь. Страх придавал бабочке сил, она била крыльями и летела всё дальше и дальше. А змея не уставала ползти по пятам. На третий день обессилевшая бабочка почувствовала, что не может больше лететь, она присела на цветок и спросила свою преследовательницу:

– До того, как ты убьёшь, можно задать тебе три вопроса?

– Не в моих привычках предоставлять такие возможности жертвам, ну да ладно, будем считать это твоими предсмертными желаниями, можешь спрашивать.

– Ты питаешься бабочками?

– Нет...

Я сделала тебе что-то плохое?

– Нет.

– Тогда почему ты хочешь убить меня?

– Ненавижу смотреть, как ты порхаешь...

(Притча)

Как только мы сели за столик в кафешке, в первые тридцать минут разговора она принялась излагать свою точку зрения на события из моей текущей жизни, мною же ей бегло рассказанные по телефону накануне. Я иногда пытался

что-то вставлять, но напрасно... Мнение было сформировано и, как только я начинал говорить, взгляд её уходил в сторону. Меня не воспринимали. Мотивацией такой реакции были аргументы жёсткие, практические и вполне понятные. Она вещала о том, что я легковесно собрался строить песочный дом или даже воздушный замок, пренебрегая многолетней каменной постройкой; что жизнь на самом-то деле стоит на прочных основах материального мира, с которыми она (моя визави) хорошо знакома на личном опыте своей собственной жизни, и, более того, вполне информирована путем общения с многочисленными знакомыми, друзьями и пациентами. Но тут в её рассуждениях проявилась вдруг некая несуразность... А именно: имея за плечами длительный брак, где её муж старше на двадцать пять лет, она в то же самое время приводила в пример исключительную корысть, исходящую от молодых женщин в отношениях с престарелыми мужьями и невозможность этих отношений иначе, нежели как «закупив бабу с потрохами» уже в самом начале знакомства. «По-другому не бывает, поверь мне!» – говорила она очень убедительно, глядя на меня, как на младенца, который так и хочет сунуть в электрическую розетку гвоздик.

Я смотрел на неё и всё думал: «А себя она как-то соотносит с этой категорией корыстных гражданок? Ведь и у неё разница с мужем о-го-го! Само собой невольно выходило, что в рассуждениях о других в первую-то голову был зало-

жен свой личный опыт выбора, и потому эта версия так отзывалась и теребила её душу. А уж потом – доверительные рассказы подруг и знакомых... И не от того ли столь сердечное и пылкое восприятие вопроса?!».

Нет! Себя она, конечно, таковой не считала и свои чувства, видимо, измеряла другими категориями. Даже если и так – если корысть в начале или даже основе твоих отношений, то разве можно признаться в этом себе? Конечно, нельзя, и себе нельзя в самую первую очередь! Иначе такой фундаментальный, такой каменный и такой материальный быт будет выглядеть не очень-то подобающим образом как для нравочений, так и для цельности восприятия уже своего бытия внутри себя самой. «Это они – там... те – так корыстны и так практичны... Но не я же?...» – как бы думалось ей. Но в то же самое время выходило, что действовать правильно надо именно так, как они. То есть исключительно продаваться. Иначе и быть не может. И тут ясно в мой адрес выходило, мол, никакие воздушные замки даже и не строй – «грудничок ты наш!» Наверно, если бы даже я начал её открыто уличать в корысти, то, конечно, бы вывернулась и поведала о редком сочетании её симпатии к пожилому мужчине и (о, удача!) его чудесным образом подвернувшемся благосостоянии.

Наконец, я всё же что-то начал бормотать в ответ, пытаюсь прервать столь стройный поток мыслей и рассуждений об особенностях и законах корыстной любви, и робко предпо-

ложил возможность иных отношений между людьми. Я стал наивно излагать вероятность главенства искренних, бескорыстных чувств над шелестом презренных купюр. Но ей это было заведомо неинтересно. Даже если бы я свистал, как Троцкий, то не убедил бы её ни на грамм. Вопрос был решен задолго до нашей встречи. Клише уже создано и наложено на свою, такую стройную, картину мира. Мои речи вызывали раздражение и взгляд в сторону. Я почувствовал себя полным идиотом, когда мне ещё и заявили, что сидят тут и слушают мой бред целых два часа! К этому моменту не прошло и часа, и я только начал говорить! Ведь до того вещала моя собеседница... Увы, ей сразу стало скучно, и время для неё как-то потянулось и закрипело! «Боже мой, – подумал я, – как же ловко мы устроены! Стоит начать излагать собеседнику несходную позицию, так даже само время вдруг заливает, будто замедленная видеосъемка или обойный клей, ну или как простой кисель на воде».

В довершении ко всему и, видимо, желая добить оппонента, ею было заявлено, что я вообще плохо разбираюсь в людях и что мне все льстят и хвалят меня, а за глаза говорят совсем иное, но я этого не вижу, так как и вовсе «мало чего вижу, иначе был бы богатым» и ни о какой непрактичной любви наивно б не рассуждал. Особенно, мол, всё это моё инфантильное нутро проявляется на моих юбилеях и концертах, где я, как мне самому кажется, как бы блистаю.

Она и впрямь была на паре юбилеев и на трёх концертах.

Наверно, это могли быть не самые удачные выступления из нескольких сотен, и, конечно, может, кто и говорил некую хрень в мой адрес за глаза... Но почему это нужно выстав-лять как доказательство своей правоты в разговоре со мной через много лет и совершенно по другому поводу? Удиви-тельно. Впрочем, такие попытки объяснить мне, что вокруг много врагов, были с её стороны и раньше. Она периоди-чески и по-дружески предупреждала меня о том, что надо быть внимательным к похвале, так как многие якобы дру-зья – врут, и мнения их на самом-то деле совсем даже и про-тивоположные.

Но раньше я такие предостережения относил к насторо-женности и тревожности её натуры: видеть во всём под-вох, врагов и измену. Кстати, мнительность – это особен-ность многих больших руководителей (а она руководитель). У меня мама была такая. Она тоже в каждом эпизоде отно-шений с людьми, связанном со мной, да и с ней самой, виде-ла негативное дно, и даже подчас гораздо ниже дна... А это, согласитесь, перебор! Ниже дна лучше не заглядывать, а то до чёртиков можно доглядеться.

Я было уже обиделся на мою собеседницу, ведь, похоже, что это она сама обо мне думает плохо, но в глаза не говорит. Видимо, причина на то была или есть. Может, какая-то про-шлая обида?... Но я рассудил в конце концов, что она всё же по-доброму ко мне относится. Знаю её и хорошо помню уже больше двадцати лет. Всегда ответственная и на страже

всего. Работа у неё такая. Иначе нельзя.

Давненько это было: сидим мы с ней как-то, вот так же после её рабочего дня вечером в кафе. И выпила она бокальчик красненького сухого, и лицо у неё повеселело, заискрилось лукаво... С юмором она, когда от работы оттаивает. Беседуем... Вдруг ей звонок по телефону. Отвечает односложно... Голос сразу одеревенел:

– Да... Да-да! Конечно! Да! Завтра, когда Вам удобно? К девяти? Хорошо – к девяти! Я Вас жду... Жду...

– Что случилось, Наташ? – пауза... Кусает нижнюю губу.

– У жены олигарха глаз на щёку сполз... Ты понимаешь, что меня завтра могут пристрелить?! Если глаз не вернётся на место, меня на ...уй пристрелят!

Я ей не сказал, что у неё у самой лицо вместе с глазами сползло ниже, чем у жены олигарха, но она, наверно, это и сама знала... Страшная профессия – врач-косметолог! Такая деятельность действительно требует хорошего тыла и защиты. Стены требуют! Тут ведь полюбишь и не только за деньги, а и за весь комплекс прикрытия – жизнь на кону.

И вот живая сидит спустя много лет и учит меня, как жить. Надеюсь, от души учит и не со зла так думает и говорит. Не пристрелили её тогда, обошлось. Как раз накануне удачно замуж вышла.

Но в чём же суть уже нынешних моих размышлений...

Самые что ни на есть материальные и прочные объекты возникают в жизни нашей из эфирных символов и совер-

шенно, казалось бы, нематериальных наших действий! Это парадоксальный закон природы! Например, дети рождаются очень часто в результате любви, да и вообще из слияния бог знает чего... Но мы к этому привыкли, и тут вроде так и должно быть. Хотя, если хорошенько подумать – чудо! Ведь, по сути, из ничего и на тебе – жизнь! А рождение мысли и слов?! Это ли не меньшее чудо?!

А потому, имея кое-какой опыт неосознанного, рассчитываю я идти символами и эфирами в своё самое что ни на есть материальное и светлое, хотя, может, и непростое будущее.

Ну а помочь и как-то всё устроить должен Бог. Если я, конечно, не оплошаю. ОН ведь тогда САМ всё из ничего сотворил. Ему труднее было, нежели мне.

Из НИЧЕГО, а сумел.

Сахаров

Был ещё у меня в армии такой случай, связанный с академиком Сахаровым...

В воскресенье наш замполит собрал роту, раздал по экземпляру на троих газету «Правда» и заявил, что мы сейчас должны пойти и прочитать в ней о диссиденте и отщепенце академике Сахарове. И своими словами пересказал, что этот самый академик написал лживую статью в какой-то там западной газетёнке с грязными инсинуациями в адрес нашего советского строя и государства. А итогом прочтения должна стать подпись каждого военнослужащего нашей роты под осуждающим Сахарова письмом.

Часть воинов пошла в казарму, остальные отправились на улицу, в курилку. Сидим, читаем и курим. В статье, написанной отечественным журналистом нашей газеты, рассказывается, какой отвратительный пасквиль на наш государственный строй и Родину сочинил этот негодяй.

Прочли...

И тут до меня медленно, но доходит, что самой-то статьи Сахарова мы так и не читали. А читали мы статью о статье. И почему ж это так-то?!

Для меня сделалось совершенно ясно, что тут очевидная манипуляция сознанием читателя.

И вот эти свои сомнения как человек, тогда почти кри-

стально честный, я и выношу на суд сотоварищей в курилке. И у всех возникают те же сомнения: как же так, может, он этого и не писал, а журналист Волбуев (фамилия условная) всё присочинил или даже ловко придал определенный крен мыслям и речам академика. Ведь пострадает Нобелевский лауреат и большой учёный из-за такой то ли ошибки, то ли навета, а то и даже злого умысла этого журналиста, а мы к этому позорищу ещё и свою руку приложим! И так дружно вроде все поддержали тему навета и неубедительности статьи, что легко и радостно на душе мне сделалось от воссиявшей во тьме истины и единения в ней всех товарищей моих.

Но тут Володя Михальков, видимо, с детства насмотревшийся фильмов про злодеев, басмачей, диверсантов и вредителей всех мастей, пробирающихся подчас в самое сердце нашей отчизны, вдруг вскочил и, тыкая в меня пальцем, как заорёт:

– Да он же враг! Вы что не видите – он же враг!

Его сердце билось в унисон с сердцем журналиста газеты «Правда». Он глубоко затянулся, бросил бычок на асфальт, топнул по нему ногой, и ещё раз гневно прохрипев: «Враг!» – решительно ушёл в казарму.

Мне всё это напомнило сцену из фильма «Служили два товарища».

Дело осложнялось тем, что комсомольская организация роты была признана лучшей в нашем виде вой-ск, а комсоргом избрали недавно меня. Получается, что это я со своими

речами в защиту диссидента и отщепенца Сахарова и есть та самая коварная вражья сила, пролезшая чуть ли не в сердце Родины. Запахло годом рождения моей мамы (1937-м).

Народ попритих, и все затаились, готовые развернуть оглобли своего мнения в другую сторону.

Ещё немного пообсуждали. Прошел час, и я пошел к замполиту со своим особым мнением.

Прихожу. Объясняю безо всякой надежды на понимание и ожидая разгрома...

А он вдруг и выдаёт: «Ты знаешь, мы тоже тут посовещались и решили ничего не подписывать. Пусть сами там как хотят, так и разбираются с этой статьёй», – и он глянул вверх.

А Михальков на другой день как ни в чем не бывало продолжил со мной дружить.

Но «осадочек», конечно, остался...

Две случайные встречи

В самом конце 80-х довелось мне оказаться свидетелем двух интересных, на мой взгляд, и характерных эпизодов с участием, как сейчас говорят, «знаковых» людей того смутного времени.

Один из них действительно большой учёный и человек, пусть и противоречивый. А вот другой...

Но обо всём по порядку.

Я тогда работал на улице Земляной Вал.

Академик Сахаров после возвращения из ссылки в Москву тогда ещё не появлялся на экранах телевизоров, ну, если только мельком в новостях. У нас на работе говорили, что поселился он где-то тут, совсем рядом, в соседнем доме, и кто-то даже его видел... Слышал же я, конечно, о нём давно, ещё со школьных лет, как об учёном с мировым именем, а затем, позже, в армии – и как об известном правозащитнике и диссиденте. Наверно мог видеть и портрет в каком-нибудь школьном учебнике, где он ещё молодой...

Так вот, приходилось каждому из нас, работающих в небольшой лаборатории, раз в неделю по очереди ходить на ближайшую почту за письмами. Идти было с километр. Почта размещалась напротив Курского вокзала, на противоположной стороне Садового кольца. Ходили до обеда, часиков в двенадцать. Ну и выпало в тот день идти мне. И пошёл...

Слева улица Обуха, справа через дорогу площадь и вокзал. Одним словом, всё как всегда. Прихожу... Две-три ступеньки... Дверь... Вхожу – и сразу через небольшой коридорчик к окошку. «Как хорошо-то – почти никого!» Передо мной стоит только один высокого роста немолодой мужчина в демисезонном кашемировом (может, драповом) пальто не «бульжного», как в основном ходили тогда старички, а какого-то песочного импортного цвета и покроя. Сразу понятно – дорогое пальто. Со спины видны уши... Большие такие, оттопыренные уши какого-то пергаментного вида.

Стою сзади – лица не видать, но мужчина впереди чем-то необычен. Минут через пять стояния и молчания он подаёт в окошко голос и иронично, по-доброму, будто сказочный герой с забавными мультяшными интонациями обращается к девушкам, которые в комнате шуршат и роются: «Что-то вы там, красавицы, сегодня как-то до-о-о-лго? Много наверно привалило?»

Девушки что-то ответили и смущённо захихикали. В этот момент мужчина повернулся ко мне, как бы извиняясь за задержку, и таким образом жестом приглашая к теме события. И вот тут, я вроде бы увидел знакомое лицо, но не из моей жизни... Стоим дальше, стоим и стоим, ещё минут пять стоим... И в этом стоянии до меня начинает доходить, что ведь это же и есть тот самый Сахаров: знакомое лицо, характерный сказочный дребезжащий голос, который где-то уже звучал, кашемировое пальто... «Точно – он!» – решил я и про-

никся уважением к спине, ушам и остальному величию. Не каждый день с лауреатом Нобелевской премии рядом постоишь!

Только вот – уши...

С детства вижу человека, должного в скорости умереть. Тревожит меня это всю жизнь. Наверно, всё оттого, что в натальной карте у меня Асцендент соединяется в точку с Солнцем и Сатурном. Неприятно такое. И вот один из признаков близкой кончины – это пергаментные уши. Кровь что ли от них отливает, и происходит это ещё за год или даже более. Иногда, правда, ошибаюсь в предвидении, но редко (есть и другие признаки, но об этом как-нибудь позже).

И тут, несмотря на кашемировое пальто, жалко мне его стало! Стоит он здесь один, выкатили старику три матерчатых мешка с письмами, килограммов по двадцать каждый, из двух сыплется через край. Надо конверты перекладывать и трамбовать, а иначе не унести, тяжело и неудобно будет.

И тогда в порыве сочувствия я ему и говорю:

– Давайте, Вам помогу?! – и, не дождавшись согласия, начинаю помогать и письма те распихивать по мешкам. А он вдруг весь встревожился, присел рядом со мной к мешкам, в глаза мне то глядит, то взгляд отводит и как-то ерепенится и не доверяет, что ли...

– Да не надо, я сам! – отвечает.

А я, как назло, забыл его отчество и никак не обращаюсь, только «Выкаю»:

– Какой «сам», Вы же не дотащите!

– А у меня там шофер в машине сидит, сейчас я его позову.

Академик было метнулся к выходу, но опомнился – не оставлять же меня одного с письмами...

Это я гораздо позже сообразил о причинах его метаний: боялся он надзора и слежки и принял меня, по всей видимости, за приставленного к нему сталкера.

– Знаете, а сходите, пожалуйста, за ним – Вы и позовите, чтобы помог, – с прищуром обратился Нобелевский лауреат ко мне.

Я взвалил один мешок на плечо:

– Пойдёмте-ка лучше вместе, сами и скажете.

И мы направились к выходу.

Напротив крыльца стояла старая, как у Юрия Деточкина, бежевая Волга. Водитель, увидев нас, быстро вышел из машины и открыл багажник. Я передал мешок, который он тотчас погрузил. Вернулись обратно уже втроём. Сахаров меня поблагодарил и категорически велел больше не беспокоить-ся.

Пока я получал свои пару конвертов и расписывался в книге учёта, машина была дозагружена и мы вновь вышли вместе. Они сели и поехали, я пошёл на работу. «Хорошо, что у него автомобиль есть», – а то ведь я уже в мыслях-то своих, пока распихивали письма по мешкам, собрался было тащить их на своем горбу к нему домой. Ну не все, конечно:

один мешок – он и два – я; и не всё пешком, на троллейбусе бы подкатали. Но, слава Богу, обошлось...

Через месяц или чуть более того история почти повторилась, хотя и действие развернулось совершенно по иному сценарию.

На почте, внутри комнаты всё с теми же почтальонами-операционистками, прошёл ремонт, и там соорудили почтовые ящички, куда мы со своим ключиком приходили и забирали переписку. Вход был сбоку от окошка: открываешь дверь и проходишь, оказываясь со стороны почтальонов.

И вот я вхожу... Сразу напряжённая неадекватная картина: головой в окне стоит пожилая усатая гражданка, курит и агрессивно, почти на крик, тем самым девочкам выговаривает: «Сколько можно мне тут торчать?! Вы хоть понимаете, кто я?! Я жена академика Сахарова! Что у вас тут за бардак! Двадцать минут коту под хвост!» – и... глубокая затыжка с густыми клубами дыма. Курила она папиросы, вроде «Беломор», но не точно, может, и «Север».

Старшая по почте робко попыталась сказать в оправдание и залепетала, что, мол, писем Вам приходит тысячи и мы бы рады, да не успеваем... Но какой там, – «жена Сахарова» – это вам не какой-то там лауреат–академик...

Для меня сцена продолжалась недолго. Я забрал своё и вышел совершенно изумлённый. Как это может быть. У такого вроде бы мягкого, интеллигентного, умного и талантливого, известного на весь мир человека, и эдакое в семье...?!

По недавним воспоминаниям художника Сергея Бочарова, который было взялся писать портрет Андрея Дмитриевича в ссылке в городе Горьком, она его даже била, отвешивая подзатыльники за положительные комментарии в адрес руководства СССР. Молодой художник, толком ничего не написав, пораженный такой атмосферой в семье нарисовал поверх портрета Сахарова портрет его жены. И тут она, увидав сие гротескное творение, сильно разгневавшись, изорвала в клочья незавершённый портрет и с треском выгнала молодого художника из дома.

Говорят, служила санитаркой на фронте. Но Элина Быстрицкая тоже была санитаркой в Великую Отечественную... Почувствуйте разницу...

Примерно через год Сахаров умер. За это время он стал медийным. Когда я видел его по телевизору, мне тогда всё казалось, что он честный, откровенный и даже чудаковатый человек, оказавшийся не в своих санях и в окружении каких-то чуждых ему, расчётливых, практичных, коварных людей.

Мороз градусов пятнадцать. Мы с женой шесть часов стояли в очереди во Дворец молодёжи, чтобы пройти мимо тела. Я ещё почему-то надел полуботинки на тонкий носок (наверно по дурости). Очень замёрзли, но достояли...

Его и её я непосредственно наблюдал ещё раз. Он в гробу, она – возле. И опять у меня в голове не сложилось.

Но вот недавно, через много–много лет, вдруг проясни-

лось, и я разом всё понял:

вампиры должны пить чью-то кровь.

Уши... Следите за ушами!

СВЯТЫЕ...

Этот рассказ – о событиях конца 60-х годов прошлого века.

Москва.

Я был ещё младшим школьником. Наш двор был образован огромными сталинскими домами, слитыми в единую конструкцию с высокими полукруглыми и гулкими арочными проходами. Сегодня, конечно, уже никого не удивить почти замкнутой по периметру кирпичной девятиэтажкой. Но тогда...

А когда тебе всего десять лет, то всё как-то особенно таинственно, торжественно и грандиозно.

Летом во дворе среди деревьев, качелей, песочницы и помоечных баков играли в футбол, «штандер», салочки, прятки, жмурки; а зимой – в хоккей, царя горы, катались с горки, рыли снежные лабиринты и прочее и прочее...

Одиннадцать подъездов, жителей больше тысячи, детей несколько десятков. Вот так тогда все и социализировались: и дети композитора, и руководителя Аэрофлота, и заводских рабочих, и шоферов, медиков и уголовников – все вместе... Ну, или почти вместе. О различных национальностях нечего и говорить, конечно, понимали что этот – татарин, тот – еврей, армянин или русский и даже обзывались, когда хотели задеть побольней... Но как-то без злобы. Или, может,

мне русскому, тогда так виделось. Впрочем, если что и было, то лишь отчасти – злобы точно не было. Но не про национальный вопрос я тут взялся рассуждать. Рассказ мой совсем о другом...

Раза два в месяц приходилось нам – детям – наблюдать одну и ту же любопытную картину, которая первое время шокировала, но потом попривыкли, и Лёшка даже попытался подсмеяться над объектом события или стебануться, как сказали бы сейчас.

Нам казалось, что она совсем–совсем старуха. Теперь-то понятно, что женщине было не больше шестидесяти пяти лет. В сером мохеровом платке, покачиваясь, появлялась она среди двора, будучи изрядно пьяной и останавливалась возле громадной арки при входе во двор. И ждала... Мы тоже, завидев приготовления к действию, побросав все игры с мячами, клюшками и шайбами, подбегали ближе и затаённо ждали. Ждать было недолго. Через минуту–другую с улицы в арку заходил кто угодно, будь то мужчина или женщина, и ни о чём не подозревая, направлялся через двор. Особенно эффектным было, если прохожий оказывался интеллигентного вида и хорошо одет. Пройдя арку и очутившись во дворе–колодце, он сходу и прямо в лицо получал невероятно эмоциональную порцию обвинений и оскорблений...

– Ххаарррряя!!! Ах ты, фашиска ххаарррряя! – орала что есть мочи бабка на невинную жертву.

Объект нападения, естественно, шарахался в сторону

и прибавлял ходу. Но не тут-то было. Безумная будто только такого побега и добивалась:

– Испугался! Страшно! Немецка морда! Ххаарррряя!!
А я тебя узнала!! Ууу – ххарряя!!!

Человек чаще спасался бегством. Некоторые пытались объяснить, что гражданка, мол, обозналась, и никакая он не харя, не морда и уж тем более не фашистская... Но тётенька только распалаясь и, не отставая от «хари», выкрикивала уж совсем страшные обвинения:

– Ты! Ты – всех сыночков моих поубивал, фашиска твоя морда!! Узнала я тебя!... – орала она в убегающую спину и в довершении совершала длинный и порой точный плевок.

Наконец, выдохнувшись, шла из последних сил к дереву и, обняв его и всхлипывая, сползала на землю...

Дети на всё это глядели, будто в театре.

Завораживало...

Некоторые от смущения смеялись, другие просто стояли потерянные. Да и взрослые порядком смущались.

Говорили, что с фронта не вернулись трое её сыновей и то ли у неё «поехала крыша», то ли это был вечный повод выпить. А может, так одно с другим и сложилось.

Я сейчас не вспомню: отводил ли кто женщину до подъезда, или, может, она самостоятельно добиралась до него? Милиция её никогда не трогала, да, наверно, и заявлений с жалобами никто не писал.

А жизнь продолжалась, и мы шли играть дальше.

Через несколько лет женщина, продолжая периодически нападать на прохожих, нашла для себя некоторое успокоение. Она, живя на седьмом этаже, привязывала снаружи окна на ниточке кусочки сала. Особенно зимой на сало слетались синички и, порхая возле окна, умиляли её и радовали.

Как я уже раньше где-то писал, моя бабушка была лишена всякой сентиментальности. Мой дед погиб во второй месяц войны, оставив её с четырьмя малолетними детьми почти без шансов на выживание. Она тащила их на себе, работая всю войну в три смены у конвейера. Тут надо отметить, что бабушка никогда возле подъезда на скамейке не сидела и сплетни не собирала, да и мало кого знала из соседей. Но эту соседку по дому с её умопомрачением она, конечно, не раз за несколько лет видела, хотя никак всё это не комментировала. И тут как-то приходит из магазина вся накрученная и с одышкой. Оказалось, встретила она в тот день несчастную старушку, которая была на этот раз трезвая и просветлённая. Та почему-то обратилась к моей бабуле, которая шла себе с полными сумками домой:

– А ты знаешь, что я святая?! – заявила она вдруг, пафосно декламируя новость на весь двор.

Бабушка редко вступала в переговоры с малознакомыми людьми, а тут, знать, как-то задело:

– Что это вдруг?

– Ко мне синички на окно каждый день прилетают... А птицы прилетают только к святым, – гордо заявила пожи-

лая и сильно пьющая женщина.

– Так ты, небось, сало привязала к окну, вот они и налетают. Синицы на сало всегда летят.

Тут «святую» вмиг понесло так, что только дым из ушей не пошел. Но бабушка не была робкой. И ответила очень жёстко:

– Вместо того, чтобы водку жрать, надо было чужих детей взять из детдома и вырастить. Вот тогда, может, святой бы и стала! А птичек и дурак приманить может!!

Пришла домой и всё ворчала: «Ишь, чего удумала! Святая она! У нас полстраны таких святых!»

Я до сих пор не пойму, кто из них прав. Может, обе...

Бабушка редко так заходилась и никогда не бывала столь категорична. Но с окончания Отечественной войны тогда прошло всего-то двадцать пять лет, и было ещё совсем свежо.

Теперь же всё это стало «давным–давно» и казалось, можно бы и не вспоминать. Но вот, вспомнил... Наверно, не зря. Время пришло...

Куда исчезла та несчастная женщина, я не знаю... Она, конечно, не из числа долгожителей.

Слаёнов

Когда я учился в школе, то дважды сталкивался с одной интересной и смешной, как мне тогда показалось, тенденцией.

Первого сентября пришли мы в третий класс, и тут на переключке Мария Петровна дважды произнесла фамилию ученика, который никак не отзывался, хотя и сидел на первой парте напротив.

– Горшков! – раздражённо повысив голос до крика и глядя в упор на него, внезапно оглохшего, учительница гаркнула в третий раз и добавила ещё громче, – Валера!! Мальчик будто нехотя и кривляясь, как на шарнирах, вылез из-за парты и внятно, с расстановкой и даже будто демонстративно-назидательно произнёс, поясняя:

– У меня мама летом вышла замуж, и теперь моя фамилия не Горшков... – тут он презрительно хмыкнул, как бы презирая себя прежнего, ведь дразнили его всегда «горшок», – а фамилия моя Чикалин... Валерий Чикалин! – гордо заявил октябрёнок, намекая на образовавшуюся созвучность с именем и фамилией легендарного лётчика Валерия Чкалова.

В классе возникла тишина чрезвычайная... Герой продолжал стоять и гордиться, а Марьпетровна молчала, соображая, что сказать. И тут с задней парты раздался наглый и беспощадный комментарий Серёжи Бакулина. Это было только

одно слово, но зато какое!

– Чи-ка...

Все мы похожи на каких-либо зверей, рыб, птиц или даже насекомых. Иногда сходство бывает просто поразительным. Это был тот самый случай... Валера всегда кривлялся и морщился, ну точно как мартышка: то лоб сложит в одну линию, то плоские губы вытянет в дудочку. Короче говоря, подвижное лицо. И тут такое: Чика!

Класс за-хи-хи-кал... Все последующие годы Валера был исключительно Чикой, и никаким героизмом от него даже не пахло.

В пятом классе приключился очень схожий эпизод на первой переключке, но уже с новым классным руководителем. Отличник Саша Дьяков, встав из-за парты, объявил, что его фамилия отныне правильно звучит Дьяк Ов. «Дьяком» его звать после этого, конечно не перестали, но сильно подивились. Да я и сам сейчас не понимаю, что это он тогда так распереживался. Наверно, никак не желал примкнуть к церковному сословию.

Когда же я окончил школу, стал взрослым и уже учился в Гнесинке, произошёл ещё один забавный случай, который, впрочем, вполне оправдан, ибо был вызван объяснимыми обстоятельствами. У тенора нашего курса была милая такая фамилия – Козлёнков. Ну, Козлёнков и Козлёнков, что в том такого – не Баранов же? Был ведь такой известный советский тенор Иван Семёнович Козловский – и ничего страшного –

пел себе... Но в том-то и дело, что пел хорошо. А у Козлѐнкова голос дрожал и, говоря языком вокалистов, тремолировал или, если по-простому, «козлил». Бывает такой недостаток у многих поющих...

И вот решил на третьем курсе Козлѐнков, что фамилия его должна звучать иначе – Козленко́в. А то получается так: объявляет конференсье певца, и тут же следом выходит сам обладатель фамилии, и ну давай – вроде петь, а вроде как бы и бляеть... Стеснялся он этого, и я его здесь очень даже понимаю и безоговорочно оправдываю.

Гораздо позже, читая роман Ф. М. Достоевского «Идиот» наткнулся я на сцену с одним из персонажей, который с досадой вопрошал о себе самом князя Мышкина: «Разве можно жить с фамилией Фердыщенко? А?»

Некоторые человеки так патологически не любят свою фамилию, что готовы её коверкать или даже менять на другую, вероятно, вина именно фамилию в своих каких-либо неудачах и недоразумениях.

Но вот совсем уж недавно узнаю, что один успешный, состоявшийся и, более того, состоятельный гражданин наш уже давно себя называет не так, нежели должно ему звучать. Жена его, когда о нём упоминает, то не иначе как: «...мой Потóкин, у Потóкина, мы с Потóкиным...», – и т. п.

И тут вдруг выясняется, что он Пáтокин. Одна буква, а какая колоссальная разница! Совершенно иной смысл... Будто перед вами нечто приторное, тягучее и осторожное – суб-

станция какая-то, а не человек вовсе... Липкая масса, и всё тут... Нет, сам он, конечно, как был, так и остался, а вот фамилия, действительно, начала вызывать сомнения уже как бы и в самом человеке...

Я у него и спрашиваю:

– Так был смысл менять-то?

А он мне на это целую историю рассказал:

– Посмотрел, – говорит, – я ещё в детстве кинофильм «Республика ШКИД», и там есть отрицательный такой герой – Слаёнов. Фамилия у него слащавая, и уж очень укладывается в образ вороватого и подлого ростовщика. И какое-то будто сходство между нами возникло – Слаёнов и Пáтокин. Мне показалось, что с такой фамилией можно и самому стать такою же сволочью. Поразмыслил, как будет достойнее и солиднее, взял да исправил одну букву. Ну, ещё и ударение поменял. Опять же, на фамилию Путин стала смыслом похожа: «путь» и «потóк», – пошутил он и продолжил:

– Да что там – я... а Лев Толстой? Он же Тóлстый! Это его предки облагородили фамилию. Представь, как звучало бы: Тóлстый – «Вой-на и мир»? Или Тóлстый – «Анна Каренина». Либо на вопрос, кто написал «Севастопольские рассказы», следовал бы ответ: Тóлстый. И уж совсем – «Христианское учение» от Тóлстого – грош цена такому учению...

Любил он ещё с крестьянами траву косить и на велосипеде по усадьбе ездить. Так они бы только и кричали: «Вон, наш тóлстый покатил!» Впрочем, наверно, они его и без того

кричали–величали «толстый», народ-то у нас сметливый...
Так что моя переделка в Потóкина более чем невинна
и оправданна, – заключил он.

* * *

А вот теперь-то и я что-то думаю: «Может, прав был
Фердыщенко у Достоевского, и нельзя жить приличному че-
ловеку с дурной или неприятной для него же самого фами-
лией?»»

Нельзя!

Такая непростая история

Первый раз я наблюдал эту особенность в одиннадцать лет.

Тогда со мной случилась ангина. Прошло несколько дней с температурой, и затем заболела поясница и живот. Ни на левом боку, ни на правом, ни на спине без мучений не полежать. Возникло подозрение на аппендицит, и меня на скорой увезли в больницу. Взяли анализ крови и пока ожидали результатов, то долго, очень долго не давали пить. Не положено, и всё тут! Такой сильной жажды не испытывал больше никогда в своей жизни. Помню, совсем уже поздний вечер: лежу в одиночном боксе и сквозь стекло смотрю на громадные настенные часы с бегущей секундной стрелкой. Замечательное развлечение! Каждую минуту, невольно отвлекаясь, лежу и вспоминаю журчащий поток, из которого пью чистую прохладную воду. Так было в жару в деревне, когда мы с ребятами, наигравшись в футбол, бежали к лесной быстрой речке и припадали в пол-лица меж камней к бегущему шустрому ручью.

Наконец-то дежурная сестра, или это была санитарка, сжалилась и принесла полчашечки воды. Выпил и даже не заметил, будто воздуха глотнул.

И уснул...

Утром в коридоре включили радио. Слышно, как время

от времени передают что-то важное и тревожное. Это еже-
часные последние известия, а следом одна и та же песня, ещё
более тревожная, нежели сами новости. Хорошо её помню.
И мелодию помню, и слова... Слова особенно:

«Но пиратам двадцатого века
Не отнять у Вьетнама неба!
Не отнять у Вьетнама солнца
И свободы вовек не отнять!
День и ночь, день и ночь
Мир повторяет упрямо:
Руки прочь, руки прочь
Руки прочь от Вьетнама!»

Как дубиной по мозгам той песней: новости, песня, затем
какое-то бормотание о трудовых буднях советского народа,
и снова – новости и песня! Невольно начинаешь переживать
не только за свой аппендикс, но и за такой далёкий, несчаст-
ный Вьетнам с его трудной, трагической и чрезвычайно ге-
роической судьбой.

А секундная стрелка на часах бежит и бежит... А минут-
ная вдруг тикнет и стоит, и стоит... А часовая... Да чего уж
там – про часовую, и вовсе нечего говорить...

В обед пришли врачи и решили, что это не аппендицит,
а что-то ещё. И меня разрешили поить и кормить.

Диагноз: пиелонефрит как результат осложнения на поч-
ки после перенесенной ангины. Не знаю уж, что и лучше,

может даже аппендицит, там чик – и отрезали. А тут: ни холодного, ни соленого, ни острого, не переохладиться, не перегреться, не перегружаться; только принимать антибиотики, читать книжки, да играть в настольные игры. На другой день разрешили ходить, и я пошел в игровую комнату, которая, как мне указали, была расположена в самом конце нашего отделения. С настольными играми по тем временам был полный порядок: картонные картинки, кубики и заводные волчки для самых маленьких; раскраски, шашки и кольца для бросания на шесты для тех, кто повзрослей; и шахматы для умных и развитых, коих в советское время было немало. Но самое крутое стояло посреди комнаты и манило... Манило и внешним видом, и процессом самой игры, и тем, что играли только двое, а все остальные только смотрели. Не буду томить – это был бильярд. Не маленький детский метр на полметра, а настоящий, примерно метра два на метр. Наверно, это был минимальный из «взрослых» столов для игры в американку с широкими лузами. Но мелок, кий и шары настоящие, сукно зелёное и бархатное...

В игровом помещении всегда была санитарка, которая следила за порядком и поведением играющих детей. Игры происходили после обеда, и даже полдник приносили прямо в игровую. Никогда не забыть мне чудесный кефир с булочкой. Я до этого не любил кефир, кислый какой-то и дрожжами пахнет. А тут его, наверно, приносили из молочной кухни, которая работала для грудничков. Он был густой и почти

пресный, с небольшой кислинкой, возможно, даже чуть подслащён. Замечательный был кефир!

Я поиграл в шахматы и шашки, и, конечно, нацелился на бильярд. В него мне уже много приходилось играть в пионерском лагере. Но то были те самые детские, игрушечные столы, а тут!...

Бессменным игроком и победителем возле заветного стола ловко разъезжал парень, приблизительно мой ровесник. Он именно разъезжал, так как у него не было обеих ног чуть выше коленей. Инвалидной коляской он владел виртуозно! Подъезжая к столу то с одной стороны, то с другой, как было в данной ситуации удобней, мальчик прицеливался и почти всегда отправлял шар точно в «свояка» или «чужака» и в лузу! Молодец, хорошо играл!

Был он с быстрыми, колючими, серьёзными глазами, черноволосый и худенький, с кривой, почти незаметной саркастической улыбкой, которая появлялась на лице каждый раз, когда удавалось забить сложный шар, а то и сразу два.

Я наблюдал за его игрой пару дней и всё не решался даже на партию. Дело в том, что когда он промахивался или противник забивал шар, то его всего перекашивало, и он тотчас бросался на него и наотмашь бил кием совершенно ни в чём не повинного игрока. Соперник отпрыгивал и громко орал от боли и обиды. А несчастный инвалид быстро приходил в себя и предлагал продолжить игру, обзывая его трусом, когда тот отказывался. Иногда уговаривал, иногда нет. Но пар-

тию всегда выигрывал...

Я невольно переживал, глядя на детей, которых били, и кровь прилиwała к голове от такой очевидной несправедливости. Санитарка делала вид, что ничего не происходит и будто бы так и надо.

Наконец, я решился и пошел играть. Он, конечно, меня давно приметил и ждал. Подойдя к столу и глядя на него в упор, я взял кий, и как профессионал, помазав его кончик мелком, наклонился к самому уху несчастного моего противника и прошептал очень твердо и даже злобно: «Вот только попробуй меня ударить! Вылетишь из кресла!»

Разбивать треугольник выпало мне. Играли долго, и я проиграл. Он несколько раз порывался съездить мне кием, но посреди движения тормозил, брал себя в руки и успокаивался. Когда игра закончилась, я вышел из комнаты. Меня догнала санитарка и вполголоса быстро проговорила, называя меня на «Вы»:

– Он у нас уже полгода. Ему электричка ноги отрезала. Думали, помрёт. Так-то он хороший, только нервный очень. Несчастный... и родители тоже хорошие. Это папа ему сюда бильярд привез. И ведь разрешили... Вы уж потерпите, он к Вам хорошо... А так, ни с кем не дружит. Вы приходите завтра...

– Хорошо, приду.

И приходил ещё почти две недели, и играл, пока меня не выписали. Я даже иногда выигрывал. Он терпел, и мы были

в паритете.

Расстались никак. Мы не подружились. Но я запомнил его навсегда. И теперь сразу узнаю таких, переживших или преодолевающих подобный ужас в своей жизни. В высшей степени уважаю подобных людей, и меня даже к ним тянет... Но они тяжёлые в общении, и рядом, как-то страшно и неуютно. Мы их до конца не поймём, а они могут в любой момент сорваться и на, казалось бы, ровном месте, ткнуть, если не кием в глаз, то, не приведи Господь, словом – прямо в сердце.

Думаю, что я ему невольно помог с правильным отношением и последующей адаптацией среди здоровых людей, когда повёл себя интуитивно. А как иначе? Иначе выкинет социум и без того пострадавшего человека, как опасного и неприемлемого для совместного с ним существования.

К тому же многие с годами засчитывают себе в большой плюс произошедшую с ними беду, причём, не только сами дети, но и даже их родители. И те и другие частенько начинают спекулировать на своём безусловном горе, обретая как бы право на вседозволенность. В результате исходит от них много мучений для тех, кто им же помогает, а порой их и содержит. Закусывают они своих благодетелей... Бывает, что даже жена – мужа, или муж – жену. Нервы это, наверно? Трудно им...

У Рихтера

В середине 80-х довелось мне быть в квартире у Святослава Теофиловича Рихтера и Нины Дорлиак. Говорю в квартире, а не в гостях, потому как хозяев дома не было: наверно, гастролы или просто уехали на несколько дней. А пригласила нас с прежней моей женой её педагог по вокалу – Леночка, которая благополучно проживала у них, пока училась в консерватории и сама была еще ученицей у Нины Львовны.

Вокалисты хорошо знают, что Нина Львовна Дорлиак была певицей (сопрано), профессором и женой великого музыканта Святослава Рихтера. Ну а про Рихтера, надеюсь, знают не только пианисты...

И вот пришли мы в огромную квартиру на верхнем этаже кирпичной башни. Две трёшки, объединенные в одну: две кухни, два туалета, посреди зал на 20—30 зрительских мест и два рояля, возле которых на столике японский магнитофон фирмы Sony. Сейчас это музей и каждый может туда заглянуть.

Пока шли из одной половины жилища в другую, я приметил при входе в зал висящие на огромной стене рисунки и картины. Их было довольно много, в основном графика. Когда на мой вопрос об авторе Леночка ответила, что это сам Рихтер, то догадаетесь, какая первая мысль мне заскочила в голову?

Правильно! Мысль была: свистнуть какую--нибудь одну небольшую картинку и потом, когда--нибудь, через много--много лет её продать.

Я за несколько часов пребывания ещё несколько раз ловил себя на этой подлой и навязчивой мысли.

Но обошлось... Нехорошо это даже и помыслить. Хотя Теофилыч меня бы понял и простил, ведь сам полжизни прожил в коммуналке.

Попили чайку с кондитерскими изделиями и уехали.

Я вот каждый раз, когда читал Евангелие и там нападал на запрет возжелания жены ближнего своего, причём даже в мыслях своих, думал: это как же так не возжелать даже в мыслях, если она премиленькая, а у меня со зрением всё хорошо?

Мучило это меня порой. Но вот совсем недавно понял, что не давал Иисус запрета думать, мыслить и желать. Думай сколько хочешь, но не почитай это нормальным. Помыслил сам в себе что-либо непотребное и тут вспомнил завет Христа, ужаснулся, раскаялся и уж точно не поддался. Так что главное – не превращать мысль в действие, сразу определив её как греховную. Более того скажу: если случится вам даже и не удержаться, ослабнуть, совершить грех, тотчас начинайте себя корить, винить и осуждать. Ну и прекращайте это дело! Не втягивайтесь!

Совсем недавно слышал я краем уха или где-то читал, что прошёл аукцион картин Рихтера. И прошел вроде бы с нема-

лым успехом. Хотя, возможно, я что-то путаю, ведь есть ещё и очень дорогой современный художник с такой же фамилией. Но вот точно знаю, что ещё при жизни Святослав Теофилович завещал собрание всех своих картин государственному музею имени А. С. Пушкина. И теперь ничья корыстная рука посягнуть на них не в силах...

А может тогда-то, почти сорок лет назад, смелее надо было быть...?

Эх, такой шанс упущен!

Ну вот, опять...! Что ж это я...?!

Пойду-ка Евангелие почитаю...

Хирурги

Люди, прошедшие через кровь, страх, голод, или просто находящиеся долгое время под прессом тяжёлой профессии и преодолевшие эти страдания и барьеры... Так вот, становятся ли они сильнее и мудрее и обретают ли они что-то в себе, либо теряют?

Вот, к примеру – хирурги...

Хирург, который каждый день по локоть в крови... Он режет, колет, вскрывает, отрезает, зашивает, у него болит спина и ноги. Что с ним со временем происходит? Тут я о настоящих хирургах: о тех, что в госпиталях и больницах, а не в поликлиниках. Становятся ли они от рутины и усталости откровенными циниками, как и многие врачи, либо обретают что-то иное – доброе и вечное?

Занесло меня в молодые годы поступить в медучилище. Нужен был диплом. Я там правда не доучился, пробыл пару месяцев и ушел, нужда в дипломе отпала. Но не обо мне речь. Предмет хирургия у нас вел дядечка лет пятидесяти. С умным усталым и мужественным лицом. Вёл и вёл, как и другие вели все остальные предметы.

И вот однажды входит он в аудиторию изрядно пьяненький, извиняется и плачет... Начинает говорить и плачет. Никак не может себя взять в руки. Но потом собрался и объяснил в чём причина. Оказалось, что был он на похоронах

своего сокурсника по институту:

– Если бы вы знали, какой это был хирург! – воскликнул он. – Не люблю я это выражение, но тут такой случай – «от Бога»! В Склифе работал. По косточкам всех собирал! А сам попал в аварию... и его не спасли...

Наш преподаватель проглотил спазм и продолжил:

– В институте мы его с практических занятий за дверь на руках утаскивали: как девочка, в обморок каждый раз падал... Такой чувствительный был... Потом к старшим курсам попривык, но всё равно переживал... Переживал чужую боль, как свою. Вот так – себя преодолел и стал уникальным операционным хирургом! Некого с ним рядом даже близко поставить... Мы все равнодушные прагматичные бездари быстро выгорели, и всё...!

Так с восторженной горечью говорил он, всхлипывая о своем товарище, и не было в нем ни капли зависти к более способному или даже талантливому ровеснику-хирургу.

Совсем не помню, как звали нашего подвыпившего педагога, и тем более имени того удивительного погибшего хирурга. Я почти ничего из тех двух месяцев не помню: ни сокурсников, ни других преподавателей, ни какое другое событие. Меня тогда ничто не коснулось, только этот совсем короткий его рассказ. Он так и врезался в память, значит, в нём была истина или очень много правды...

Наверно, каким быть или стать зависит от воли человека и самой его природы. Да, в силу различных причин мож-

но сделаться грубым, циничным и даже жестоким, но только в том случае, если всегда имел к тому внутреннюю склонность.

У чуткого сердцем душевная глухота не образуется. И если такой человек оказывается в жёстких обстоятельствах, то он перемалывает их, а не они его. А уж коли совсем невмогуту – просто уйдёт из этой профессии, но внутренне меняться и черстветь не станет.

Выходит так, что в трудных условиях циничным и грубым до жестокости становится слабый, а вот сильный – всегда эмоционально страдающий. Он будет только ярче и увереннее как профессионал и светлее, добрее и мягче как человек.

Чёрт окаянный!

Когда мне исполнилось лет десять, я страстно полюбил пугать всех своих домашних родственников. Благо, квартиры в «сталинках» строили с разнообразными закоулками, нишами, загогулинами, встроенными шкафчиками. Было где спрятаться, а потом с замиранием сердца ждать, когда кто-то из близких пойдет мимо или полезет в шкаф... И вот, кто-то идёт... и тут ты – бабах из пистолетика с пистончиками!... Искры, крики, погоня за тобой по всей квартире и мольбы о пощаде, и обещания, что это было в последний раааааззз!

Но последний раз никак не наступал. Появлялись всё новые способы испугать, находились иные места схронов своего тела и я периодически из засады то стрелял, то гавкал, то хрюкал.

У бабушки к тому времени уже был инфаркт, но мне это было неважно. Именно бабушка была главной целью и жертвой моих нападений. Её бедненькую я пугал и страшал самыми изысканными приёмами.

Санузел у нас был отдельный и очень большой. Туалет, где стоял унитаз, занимал квадратных метров пять, и от двери до сиденья, наверно, можно было разместить небольшой диванчик. Его, конечно, там никто не размещал, и к унитазу подходили, делая два-три обычных шага просто и без пре-

пятствий. Потолок выше трёх метров, на полу обычная светло-коричневая кафельная плитка. Если сидеть на унитазе, то справа от него и до стены всегда стояло металлическое ведро, перевернутое вверх дном. Тогда ещё пластиковых вёдер не было и воду для мытья полов наливали в обычное железное ведро, которое, если его пустое случайно задеть ногой, гулко гремело на весь туалет.

Вот это самое ведро возле унитаза и привлекло однажды моё внимание.

Как-то, как обычно пройдя в туалет, я не стал совершать там всё, что принято там совершать, а привязал заранее намотанную на руку тонкую рыболовную леску к ручке—обручу пустого ведра, которое мирно покоилось, как я уже написал выше, кверху дном справа от унитаза. Леску я аккуратно проложил по плинтусу и вывел её совершенно неприметно к двери и ещё чуть дальше за дверь.

С нетерпением и предвкушением я ждал бабушкиного похода в туалет и проигрывал в воображении, как потяну за невидимую глазу леску именно в тот момент, когда бабушка зажурчит, а ведро с грохотом, медленно и как бы само собой поползёт из-за унитаза мимо бабушкиной ноги к двери; как бабушка, испугавшись заорёт, вспрыгнет со стульчака (сиденье унитаза) и в панике, даже не надев трусы, выбежит в коридор, будет тяжело дышать, страдая одышкой, креститься и причитать...

Туалет располагался в коридорчике возле кухни. Бабуш-

ка, увлеченная приготовлением обеда или ужина (точно не помню), тихонечко мурлыкая какую-то песенку, что-то резала, солила, варила, отбивала кусочки мяса, бесконечно то открывая, то закрывая холодильник, и никак не хотела отпираться в соседнее помещение, чтобы попасться в расставленную мною ловушку.

Я же всё время крутился рядом, иногда заходя на кухню, иногда выходя в ближайшую комнату, а то и маскируясь в ванной. Ведь нельзя было просто так взять и пропустить момент...

Наконец-то бабушка вошла, я стремительно подбежал к туалетной двери и схватил леску. Да, всё происходило по плану: было понятно, что бабушка присела и вот... вот... пора тянуть за леску... Ну!!!

Я потянул. Ведро загремело, как и ожидалось по кафелю... Сердце вырывалось из груди, потянул ещё и ещё. Грохот что надо! Но от бабушки ни звука... Потянул ещё и ещё... Тишина.

«Странно, она что, оглохла?!»

Когда ведро приехало к двери, раздался совершенно спокойный и жёсткий голос пожилой женщины: «Чёрт окаянный!» – только и услышал я из-за двери...

Радости никакой не случилось. Бабушка спокойно вышла из туалета, прошла к раковине, помыла руки и вернулась на кухню. Весь вечер она со мной не разговаривала.

Какие же бесчувственные и жестокие бывают дети! Поче-

му так? В младенчестве могут взять и ткнуть родному взрослому человеку пальцем прямо в глаз, а подростками заигрываясь, пугать и совершать невообразимые фокусы в отношении старших, зная, что их любят и всё сойдёт с рук. Повзрослев, эти дети думают, что родители вечны и даже могут пережить их самих.

Когда бабушка через десять лет умерла, то оказалось, что она на ногах перенесла четыре инфаркта. А было-то ей немного – всего шестьдесят восемь. И невозможным тогда казалось поверить, что всё закончилось, хотя и давно к тому шло.

Что ж так поздно до нас доходит!

Так поздно, да и то не всё.

Чеснок

Вот почему мне не нравится еврейский юмор? Просто не люблю, и всё.

И притом я не антисемит. Мне же талдычат, мол, если я их юмора не принимаю, то это только из принципа, а значит, я антисемит. И когда вся страна ржёт, а ты даже не улыбнешься, то причина тому исключительно одна – всё та же самая...

Но ведь я могу быть обычной тупой дубиной и тормозить на каждой их фразе, да что там фразе, на каждом смешном слове притормаживать...

О, пусть! Пусть уж я лучше буду дубиной, коли нельзя просто не принимать! Только не обвиняйте меня в антисемитизме и нелюбви к древнему мудрому, талантливому и свободолюбивому народу!

И ещё...

Я не люблю чеснок!

Ну, просто не могу его есть из-за физиологических препятствий. У меня от него живот болит. А Фаина Давидовна – ничего – трескает. И Мария Ивановна потребляет с удовольствием. А вот Пётр Степаныч, хоть и жрёт, но потом сильно и нехорошо пердит. Конечно, мне дурно от Петра Степаныча и неприятно от дыхания Марии Ивановны, но запрещать им есть чеснок я не стану и не могу, если б даже то-

го и захотел. Да и Фаина Давидовна без чеснока помрёт, он в её организме, как она сама говорит: «Всё вредное ликвидирует». А нам хорошо известно, что Фаина Давидовна – это святое, ведь она мама Осипа Израилевича, и, конечно, если чеснок так помогает, то она должна его есть... Есть и жить долго и счастливо со своим законным супругом Абрам Семёнычем!

Но при всём моём почтении к Фаине Давидовне, Абрам Семёновичу и особенно уважаемому Осипу Израилевичу, чеснок я есть не стану и юмора еврейского не люблю...

И не просите!

Ну... если только самую малость.

Шиш под лобыш или почему хорошие мальчики любят плохих девочек (рассказ рядового инженера)

Коллектив, куда я перешёл на новую работу, был маленький. Этакая закрытая автономная лаборатория с двадцатью сотрудниками, включая руководителей, бухгалтерию и делопроизводство. Семь кабинетов, кухня, санузел и большой холл, где проходили как официальные собрания, так и чаепития с периодическими праздничными возлияниями. Всё и все на виду. Средний возраст коллектива – лет тридцать, руководители, конечно, значительно старше, женщин и мужчин почти поровну. Рабочая дисциплина формировалась больше из самосознания сотрудников, нежели на каких-то общепринятых трудовых правилах и установках. Красота!

Контору тогда только создали, и я был в первой волне пришедших. За двенадцать лет моей работы в этом чудесном месте сменилось четверо руководителей. Помню, конечно, всех, но самого первого из них хочу вспомнить хоть и коротко, но особо. Буквально через неделю у меня возникла необходимость отлучиться на часок в рабочее время, и я, договорившись с товарищем о подмене, подошёл к начальнику

где-то в коридорах и говорю:

– Петр Владимирович, разрешите на часок задержаться с обеда. С Володей я договорился, он за меня посидит, контролирует и прикроет.

У Петра Владимировича на это моё заявление внезапно опустилось лицо, и он, глядя на меня, как на врага, раздражённо и очень обиженно ответил:

– Как ты можешь мне – такое?!... Никогда! Никогда больше не спрашивай: надо идти – иди! Главное, чтобы не пострадала работа. А меня больше так не обижай и не спрашивай...» – повернулся и пошёл в свой кабинет.

Надо же!

Система, откуда я перевёлся, была схожей, и там даже пукнуть без разрешения было нельзя. А тут – вот те раз...

Да уж!

Он был начальником года полтора, а потом вдруг заболел, уволился и через пару месяцев, даже не дожив и до пятидесяти, умер. Это был замечательный человек! Майор в отставке. Удивительным было для бывшего военного такое доверие к подчинённым. Ну и мы не подвели его ни разу. Да это было и невозможно при таком уровне отношений.

Но каким бы прекрасным человеком ни был наш первый руководитель, я, вспомнив о нём самым теплым образом, начну повествовать совершенно о другом. А именно продолжу тему, заявленную в названии моего рассказа...

Мишка Гойзман пришёл к нам в коллектив несколько поз-

же, наверно, года через два. Это был воспитанный, остроумный, образованный еврей с довольно разумным пониманием всего происходящего вокруг. Советскую власть он недолюбливал, но без фанатизма, а так – с небольшой долей скепсиса и бытового критиканства, впрочем, как и почти все мы в те времена.

Внешне Мишка был не ахти: грустные глаза в очках, небольшого роста, щупленький, с несколько отвисшей нижней губой, при усах и с мохнатой чёрной бородой на совсем ещё молодом лице. Но кислую внешность компенсировало, как я уже написал, хорошее чувство юмора и воспитанная вежливость.

Был у него, правда, маленький недостаток, о котором, может, и не стоило бы упоминать, но всё же упомяну. Возможно, это даже вовсе и не недостаток, а так – пунктик. Но пунктик уж больно характерный.

Дело в том, что каждую неделю у кого-то из нас случалось некое событие: или женился кто, или родил кого, или какой-то юбилей. Собираясь в холле, отмечали не только личные, а и все государственные праздники страны. Самым же традиционным и регулярным поводом для сбора, конечно, был день рождения. Сразу после обеда в рабочий полдень родившийся выставлял на стол несколько бутылок шампанского и коробочку конфет, а к чаю пару тортиков. Все стоя торжественно выпивали понемногу игристого и сидели пить чай с кусочком десерта. Некоторые соблюдавшие

фигуру, в основном то были женщины, от вкусенького отказывались, и их порция поступала, как правило, в употребление кому-то из мужчин. Мишка, всегда в подобных случаях задорно шутя, быстро подскакивал к тарту первым и поглощал иной раз один всё то, что оставалось от постящихся дам.

Через год, когда Михаил, вроде бы по забывчивости, пропустил свой день рождения, невольно возникли подозрения, что наш очень воспитанный новый сотрудник – большой любитель халявы. Но всё же оставались надежды на ложный след и порочность наших недостойных мыслей и что здесь какое-то недоразумение, и всё как-то само объяснится, да и подумаешь, мелочь какая – тортик... Но прошел ещё год, и всё повторилось. И тут ни воспитание, ни юмор его уже не спасли. Впечатление сложилось окончательное...

И уж совсем он нас удивил своей железной логикой, когда в споре, отстаивая некую моральную позицию, поведал странную историю о том, как три месяца жил у своей любимой женщины и... И за то, что она его всё это время кормила и поила, он ей бесплатно, то есть даром, отремонтировал уют, телевизор и обил входную дверь дерматином. И юмора не было в его словах вовсе. Он так и считал, что каждый вносит свою лепту в совместное проживание тем, что умеет: ведь она же (его девушка) чинить электрические приборы и обивать двери дерматином совсем не умела... Мы на всякий случай спросили про материалы по обивке двери, всё

ещё надеясь, ну хоть на что-то... Но – нет, материалы барышня купила за свой счёт, Мишкина была только работа.

На третий год в день его рождения мы приступили к Михаилу с прищуром в глазах. Поздравили, конечно, и стали его пытаться: мол, от чего торт на столе отсутствует и нигде не видать шампанского? Он же нам со всей прямоотой заявил, что всё, что происходит – происходит на добровольной основе. А эта его основа позволяет именно так ему и поступать, как он и поступает, то есть: своё беречь, а чужое – жрать. И всё это он без капли юмора и даже будто с обидой нам выдал как отрезал. Видимо, был заранее готов к отражению атаки и морально, и логически.

Мы пожали плечами и каждый «остался при своих». Ещё десять лет всё так и продолжалось, то есть он нам показывал «шиш под лобыш» и спокойненько кушал наши тортики...

Ну вот, я с этим тортом совсем с темы сбился! А ведь главное-то не в торте, хотя речь отчасти и пойдет о сладеньком.

Малый он был неплохой, добродушный и даже мягкий, а это с тортиками, как я уже и написал выше, просто пунтик – недоразумение, и мы не будем его учитывать и продолжим.

Через несколько лет, уже ближе к середине восьмидесятых, в лаборатории у нас появилась некая молодая женщина, которая занялась чем-то вроде делопроизводства. Как её к нам занесло и для какой цели она понадобилась, уж и не помню. Почти ежедневно опаздывая, она шла объясняться

с руководством, затем в курилку, где буйно и весело шутила. Брюнетка среднего роста, стройненькая, худенькая и даже более того – дохленькая, да ещё и на высоких каблуках. Замужем, детей не было.

Складывалось впечатление, что по утрам Маша (так её звали) появлялась с перепоя: лохматая, с трясучкой в руках, синяками под глазами она постоянно бегала не только в курилку, но и на кухню, где, на кого-то ругаясь, жадно пила воду, сильно злоупотребляя матёрыми словами и выражениями. Наверно, в подобном поведении для многих и заключается некий шарм...?

Прошло время, и мы стали наблюдать, что в курилке не то что часы, а и целые дни напролёт сидели двое: Миша и Маша. Дальше – больше... Уходить с работы ребята тоже стали вместе. «Ну и хорошо, – решили все, – хоть одна пара сложилась в нашем трудовом коллективе!»

Но через некоторое время Миша изменился, и не в лучшую сторону. Это насторожило. Он осунулся и даже немного пожелтел, утром приходил лохмат и не чёсан, много курил, блуждал поникшим взглядом, стал тих и печален... Маша, напротив, сделалась гораздо веселее и бесшабашней, громко смеялась и материлась уж совсем как сапожник.

Нам, несколькими товарищам-сослуживцам, невольно пришлось быть свидетелями развития таинственных событий. Но мы деликатно молчали, иногда удивлённо приподнимая брови.

Наконец, наш герой сам приоткрыл историю и заговорил. Действительно, держать такое при себе долго было невозможно...

Оказалось, что Маша не просто может изрядно выпить водки, а и вовсе без неё жизни не чаёт. Влюбленный и воспитанный Миша, дабы вызвать расположение дамы сердца, каждый вечер покупал бутылку «Столичной», и пара молодых шла искать место, где её употребить. Места были самые экзотические: чердак нашей же лаборатории, подворотня, подъезд соседнего дома, скверик со скамеечками, дворничка и тому подобное. Маша была большая экстремалка и затейница! Она не просто употребляла спиртное на пару с Мишей, но и, особо не заморачиваясь, «приняв на грудь», следом совершала с собутыльником акт прелюбодеяния. При этом, места грехопадения в основном совпадали с питейными.

Но это не всё. Для воспитанного молодого человека стало откровением желание Маши привести Мишу к себе домой и познакомить его с мужем. Выяснилось, что муж тоже любитель врезать водяры, а потому пришлось покупать уже два пузыря. Муж, судя по всему, был алкоголиком-ветераном и засыпал, опьянев после второй рюмки. Влюблённые оказывались предоставлены самим себе, да ещё и в комфортных домашних условиях. Это стало доброй традицией. Теперь ребята каждый раз покупали не одну, а две бутылки и ехали поить законного супруга.

Очень быстро Михаил повадился занимать на водку до получки. Я пытался с ним поговорить, мол, надо бы завязывать... Он согласился, но сказал обречённо:

– Понимаешь, я ей пальто надеть помогаю, а у меня сразу всё чувство встаёт...

– Миша, ты на неё выработал рефлекс. Скоро сопьешься, ведь рефлекс возникнет и на водку... И на мужа, – пошутил я близко от правды...

– Не могу я пока отвязаться... Не могу!

Прошло полгода.

Однажды утром Машка вбежала в курилку, саркастически гы-гы-кая и едва успевая проговаривать от восторга:

– Мишка-то, совсем сбрендил, – и она покрутила себе у виска, – замуж предлагает выходить! Плачет, как дурак... А на чёрт он мне нужен?! Мой Ванька гораздо лучше. И функционирует у него хорошо. А у Мишки-то – так себе... Не-е, надо с этим кончать...

И она с этим покончила.

Миша взял больничный и ушёл в отпуск. Целый месяц его на работе не было.

Вернулся здоровым и окрепшим. Вместе с Машей они больше не курили, но как культурные люди не дичились и, сохраняя дистанцию, дружелюбно здоровались.

Я вот думаю не только о том, почему хорошие и воспитанные мальчики любят плохих девочек, а ещё и о том, какой фантастический эффект производит влюбленность на созна-

ние даже очень убежденного и расчётливого человека. Готовый пойти на все логические уловки, лишь бы не потерять свои три копейки, влюбившись, забывает не только о логике, а и об элементарном здравом смысле, и не спасает даже, казалось бы, самое главное – инстинкт самосохранения.

А Мишка с нами ещё немного поработал, потом благополучно женился на ком-то из своего культурного круга и в 90-е, в самый расцвет демократии, уехал на ПМЖ в Израиль.

Билетик

Советский гастроном. Стою в кассу, впереди трое, сзади – пятеро. За стеклом кассир – женщина средних лет каждому предлагает приобрести лотерейный билетик. Народ отказывается. Подхожу к окошку, называю продукт и его вес. Она выбивает и предлагает купить билетик и мне. Я делаю дебилское лицо и, как мне кажется, шучу:

– А он с выигрышем? Если с выигрышем, то куплю.

– Што?! – удивилась тётя, но ушам своим сразу не поверила.

– Билетик, говорю, точно выиграет?

И тут она за дебила вместе с лицом приняла всего меня целиком.

– Вот чудной-то! Ну, чудной! – женщина высовывает лицо в окно кассы и, обращаясь к очереди, восклицает:

– Да кабы я знала, что он выиграет, так сама бы купила!
Вот чудной-то!!

Очередь посмотрела на меня, как на прокажённого, и отшатнулась. Я быстро сменил глупое выражение лица на пристойное и глубокомысленное, но это не то что не помогло, а и напротив испугало гражданских. Они вовсе растерялись и попятнулись.

Я быстро забрал сдачу и скоренько отвалил.

Сам виноват, нечего тут умничать! Шутник тоже выис-

кался...

В спину ещё пару раз услышал:

– Вот чудной-то!

Наверно, плохо у меня с юмором, не смеются люди...

Нет, не смеются.

Болтуны

Несколько раз в жизни я попадал в ситуацию, когда приходилось вынужденно долго общаться с болтунами. Это были как женщины, так и мужчины. Люди эти, как правило, эрудированны, начитаны, а так же смелы в речах и мыслях своих. Они монологисты и, соответственно, не умеют пребывать в диалоге. Если неосторожно поучаствовать в разговоре, то каждое слово твое станет с их стороны продолжением новой объемной темы. Сначала мне становится невыносимо скучно. Затем появляется желание дать болтуну в лоб. Потом апатия и ясное осознание того, что его и побоями не исправить. И ведь даже не пробуют себя хоть чуть изменить!

Это ведь когда ещё Козьма Прутков провозгласил: «Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану».

Ан нет: натыка́лся на некоторых через много лет, увы, они не меняются... Всё та же воодушевлённая болтовня «в одни ворота» и нежелание себя хоть как-то исправить и начать слушать собеседника.

И ведь кто-то же их терпит и, наверно, живёт с ними, и даже, возможно, умудряется их бескорыстно любить?

Но мы-то тут причём? – Мы не подписывались.

Надо вам, конечно, дорогие наши болтливые граждане и гражданки, себя как-то менять. Надо!

Иначе не ровен час и, казалось бы, такая сильная сторона

человеческой природы, как умение говорить в излишнем упоении от себя любимых, доведёт кого-нибудь из собеседников ваших до греха.

И получишь ты, болтун, если не в лоб, то по лбу!

Толку, конечно, особенного не будет...

Но хоть будет больно!

Весна...

*«Многие знания – многие печали»
царь Соломон*

Когда в природе всё так молодо и ново, когда солнце смотрит весело и бодро, снег только сошёл, ручьи почти пересохли, низенькая травка местами пробилась и попугайно зеленеет, набухшие почки лопнули, а кое-где и вовсе раскрылись листиками... Вот она – красота!

А как пахнет! Ещё нет душистого разнотравья и приторности, только какая-то прозрачность. Воздух не конкретен. Даже не вдыхая и не наслаждаясь отдельными запахами, его чувствует сразу весь организм. Куда бы вы ни пошли, он везде и нигде. И хочется жить. Очень хочется! Будто впереди вечные каникулы.

Я был ещё школьником и однажды муж моей крёстной Яша, когда мы ночью сидели на кухне, каждый читая своё, вдруг оторвал голову от книжки и неожиданно проскрипел:

– Как же меня раздражает и вводит в тоску весна!

– Почему? – спросил я просто и ни о чём особенно даже не думая.

А он поморщился и пояснил:

– Она приносит обманутые надежды. В апреле я уже предчувствую осень... Октябрь или даже ноябрь.

– Как это?

– Чем радостнее и свежее сейчас, тем тягостней потом. Обречённость знания... Всё отравляет это мерзкое и неотвратимое предчувствие конца... Именно мерзкое!

Он вздохнул, поглядел на раскрытую форточку, низенькую оконную шторку, темень за ней... и замер.

Что-то вроде я тогда понял или почувствовал, но как-то неточно, будто мысль коснулась меня и прошла, проплыла дальше и мимо, так – сама по себе...

Прошло лет двадцать. Яков развёлся, крёстная умерла, я вырос, и вот – то печальное чувство или мысль о весне и осени, которые через лето неминуемо сменяют друг друга, стали посещать и меня. Сначала были только воспоминания о том разговоре, а потом и ощущения. А сегодня, эта гнусная отравка предчувствия уже затмевает мне радость жизни в, казалось бы, самые счастливые дни года.

Отчего получается именно так, что свету весны мешает знание неминуемого наступления не только осени, но теперь уж и зимы?

Наверно, оно – это знание – и есть та самая Соломонова скорбь.

Наверное...

Наверно, нас немало.

Вы ведь тоже так чувствуете? Или вы ещё даже не подумали о своей осени...?

Высоцкий

Сегодня проснулся, а по телевизору показывают фильм «Вертикаль» с Владимиром Семёновичем Высоцким.

Ему 85.

Надо, думаю, наконец-то написать про тот эпизод из моей жизни...

Лето 1979-го. Жара. Год, как я вернулся из армии, и недавно познакомился с Алкой. Идём с ней к Тверской, переходим от Белорусского вокзала. Остановились за памятником Максиму Горькому возле дороги со светофором. Нам красный. Ждём. В метре от нас останавливается светлый Жигуль: бежевый или белый – точно не помню. Ему тоже красный горит. Мы стоим – он стоит. Водительское окно открыто, а из него – согнутая в локте рука с дымящейся сигаретой. Тут голова поворачивается, и на меня смотрит Владимир Высоцкий. С метра! Моя физиономия, видимо, так вытянулась, что он весело эдак ухмыльнулся, затаился, переключил на первую передачу и поехал. Мы продолжали стоять на красный.

Вот, люблю я смотреть на людей, а не вертеть башкой куда попало или упереться взглядом себе под нос...

– Алл, надо же такое! – воскликнул я, обращаясь к спутнице.

– Чево? – удивилась она.

– Как это – «чего»?! Высоцкий – вот – в машине только что сидел перед тобой!

– А я не видела...

– Как – так?!

– Вот так, задумалась и не смотрела.

Я был очень разочарован в девушке. Она не смогла разделить со мной такое событие! Но не важно, через месяц мы расстались...

Наверно, у него это была подменная машина, ведь хорошо известно, что Высоцкий ездил на Мерседесе.

А через год опять на жаре я стоял часов шесть посреди Таганской площади и вместе с многотысячной толпой ждал выноса тела... В тот день меня делегировали с работы как самого молодого. На цветы сложились всем отделом. Цветы-то я купил, но пройти к гробу было уже невозможно, очередь в несколько километров растянулась бог знает куда. А потому передал их через турникеты стоящим возле входа в театр.

И отправился на площадь.

Люди стояли и сидели везде, где только можно, даже на крышах домов и газетных киосков. Их пытались снять оттуда милиционеры, но «сидельцы» упирались, вызывая сочувственные крики и гул толпы.

Выход перекрыли автобусами, и можно было только догадаться, что, вроде, уже вот – вынесли, погрузили и повезли. Автобус поехал, толпа рванула, и я тоже сначала оказался

вынесенным потоком на край площади над тоннелем в сторону Курского вокзала. Машина с поэтом двигалась по Садовому кольцу, за ней бежали несколько тысяч человек и бросали на асфальт проезжей части невозложенные к гробу цветы. Вся дорога от площади и ещё метров на триста была красной от гвоздик и роз.

Через пять минут толпа вернулась на площадь к театру. В окно на втором этаже выставили огромный портрет с чёрной широкой лентой. Меня занесло на улицу между театром и зданием метро. Все дружно и воодушевлённо скандировали его фамилию, плакали в голос и изо всех сил хлопали.

И тут власти пустили в толпу троллейбусы и конную милицию. Началась давка. В какой-то момент стало откровенно страшно. Я вырвался из толпы и влез в метро – без пуговиц и с оторванными подошвами.

Троллейбусы и конная милиция тогда разделили не только толпу, но и страну, и отношение к самой власти.

Конечно, надо было хоронить достойно, без попыток сокрытия и умалчивания. Хрен с ней, Олимпиадой... Она бы не пострадала.

Я чуть позже встретил на улице своего одноклассника, который пошёл служить в КГБ. Разговорились... Он вдруг:

– А кто он такой, чтобы его хоронить с помпой – партийный руководитель или какой деятель, что ли...?!

Больше я с ним не разговаривал.

* * *

Во Франции с великим русским певцом Федором Ивановичем Шаляпиным прощались всем Парижем. Присутствовали послы и государственные деятели всех стран. Катафалк медленно проехал через центр города. На несколько часов в Париже остановили движение.

Выстрел в лоб

Накануне Ирка пригласила Степана сопроводить её в мастерскую молодого, но уже известного всей Москве, большого и даже официального художника. Живописец был академистом. Писал московские дворики и крыши малоэтажных домов, оставшиеся нетронутыми, храмы и колокольни, портреты иерархов церкви и простых верующих, политиков и, конечно, бизнесменов (заканчивались 90-е).

За всё это ему выделили мастерскую метров в сто на самом верхнем мансардном этаже «сталинки» с высокими потолками и сантехническими удобствами почти в самом центре столицы: знай только пиши себе в удовольствие и радуй сограждан, ни о чём не переживай, в ус не дуй и не нуждайся. Мастер, видимо, так и делал: не нуждался и писал, и писал...

Степан не был большим знатоком в изобразительном искусстве. Конечно, он раз в десять лет ходил в Третьяковку или музей Пушкина и даже в силу обстоятельств бывал в галереях Ильи Глазунова, Зураба Церетели и Александра Максовича Шилова, но главное – он имел необычайное чутьё и тонкий художественный вкус почти во всех культурных сферах. Степа мог почти сразу и безошибочно определить, где что-либо талантливое и достойное, а где – вторичное и пародийное фуфло. Вот оттого-то он и был приглашён в сопровождение.

Ирка, полагаясь на его врождённый нюх, чаяла, может, даже что-то приобрести прямо в мастерской. Работала она в верхних структурах нашей городской власти и вроде бы даже курировала поддержку художника в выделении ему этой самой мастерской. Естественно предполагалось, что и он, проявив встречное движение, сам предложит нечто из своих работ в подарок, а ещё лучше – напишет Иркин портрет и тем самым увековечит её, поставив в один ряд с людьми великими или очень значимыми.

Пришли.

Степан ходил вдоль стен, что-то спрашивал, цокал, уточнял, возвращался и снова, как волк в вольере, рыскал по периметру. Даже заглянул в туалет и на кухню, но и там ничего не приглянулось. Ему ничего не нравилось, но виду «эксперт» не подавал и на Ирку смотрел стеклянными ничего не выражающими глазами, не выказывая мнения и симпатий. Через час подробного просмотра и созерцания он начал сомневаться в самом себе: «Как же может ничего не нравиться, если всё культурное, духовное и профессиональное сообщество признало?» Взглянув в последний раз на лик известного епископа на фоне храма, пошли втроем пить чай с печеньем, вафлями и баранками. Сели за журнальный столик. На нижнем ярусе журналы. Один из них художник предложил полистать Степану. Это был каталог его работ в каком-то иностранном издании. Некоторые произведения, которые висели в мастерской, Стёпа тотчас узнавал, обречённо

продолжая листать дальше и дальше... Всё одно к одному: дома, дворы, крыши, портреты, храмы... Стало неловко. Пора бы и сказать хоть что-то восторженное и от души. Но печенье с баранками застряли поперек горла и панегирик никак не исходил.

И вдруг...

Нет, дальше не сразу...

Бывает в жизни каждого из нас очарование, а бывает и разочарование.

Сначала о разочаровании... Представьте, что вам предложили послушать виниловую запись «Элегии» Жюля Масне в исполнении великого певца Фёдора Шаляпина... Вы сели, прикрыли глаза, запрокинули голову... Зазвучала музыка... Вступление... Фортепьяно, виолончель, неизъяснимая тоска в каждом звуке, в каждом аккорде... И тут вместо Фёдора Шаляпина вступает Прохор Шаляпин!!! Этот самозванец! Хрюкает мимо нот, безголосое чудище! Хрюкает и хрюкает... А в конце самое ужасное – бурные аплодисменты и крики «браво!». Публика в восторге.

И сидишь ты опущенный, слушая эту хрень... Короче, нет никакого великого Фёдора Шаляпина, а есть только слащавый Прохор... И это, конечно, разочарование.

Или вот ещё, но уже об очаровании...

Старый фильм «Веселые ребята». Помните, как там упиралась в вокальные гаммы комическая героиня, разбивая куриные яйца о нос бюстика Бетховена, надеясь, что ей это по-

может запеть? А потом Любовь Орлова спела только одну красивую ноту, и сразу стало понятно, у кого настоящий очаровательный голос.

Таким образом, что очаровываясь, что разочаровываясь, вы в любом случае получаете эстетический, эмоциональный или культурный шок.

Так вот...

На тридцатой странице альбома Степан увидел то, что его сразило наповал, будто кто-то выстрелил из иллюстрации прямо в лоб... Там, на картине: усталый, безысходно обречённый и сильный человек сидел на камне, сложив руки и смотрел перед собой, решив для себя всё и навсегда. Это было чудо! Художник передал смысл и суть не только эмоций и настроения, но и философии жизни всей нашей цивилизации.

Стёпа перестал жевать, потом поставил чашку с чаем на столик и сиплым шёпотом почти заорал:

– Так вот... вот же! Это же то, что надо! Это – так здорово!!! – в сердцах и восторге продолжал «эксперт», – Ведь именно так надо!

Ирка и художник с явным интересом протянули руки к каталогу и развернули его.

Лицо у художника обвалилось. Он тяжело поглядел в восторженные глаза Стёпы, готового купить картину немедля и за любые деньги:

– Эта картина другого художника, – мрачно заявил он

и вынул лист из каталога.

Как так вышло, что картина Ивана Крамского «Христос в пустыне» оказалась вложенной в каталог нашего молодого и удачливого мастера – неизвестно. Да и что уж было спрашивать? Чай допили и потопали к метро...

– Ну, что же ты, Стёпа, такой известной картины-то не знаешь? – возмущалась Ирина, – Тоже мне...

– Да я знаю, но как-то так, само вдруг вышло... Ведь целый час ходили–бродили среди этой конъюнктурной хрени, и тут вдруг – раз, и перед тобой гений!

Больше Степана на экспертную оценку не приглашали и мнения его о живописи не спрашивали.

Оплошал...

Главное — ноги (не очень смешные истории)

Скоро год, как умерла моя мама. А за полгода до того от ковида скончалась соседка этажом выше. Соседка была хоть и пожилая, но ещё совсем не старая. Её муж лет на десять постарше, фактурный здоровяк с глубоким басом из бывших шоферов, человек довольно циничный с несколько грубоватым юмором, но по сути добродушный. Он сразу как-то сдал и попритух. Я тоже, понятно, хожу невесёлый.

Иногда мы встречаемся на лестнице или во дворе, здороваемся и коротко перекидываемся о погоде, украинских событиях, реновации и здоровье.

И вот стою я сегодня, счищаю с машины снег. Он подходит. Впервые разговорились о своих ушедших родственниках. Сошлись на том, что тяжело всё это переживать. Мол, память подкидывает то, что давно, казалось, забыли. Всё совесть мучает: не так сказал, не то сделал, нагрубил или ещё как-то обидел. И сны! Сны, где все ещё живые... Он рассказал, как по утрам просыпается и за спиной привычно по постели, не глядя, рукой хлопает, забывая, что её уже нет: «Аж в пот, — говорит, — бросает».

Хотя бы одну только минуту вернуть и сказать, какой ты был тогда свинтус и как ты был не прав! Всё бы успели за

одну минуту! Ведь главное только успеть прощения попросить и больше ничего! Но нет, не дадут и минуты...

Почти всё-то у нас похожее.

Почти...

Ну да, у всех и со всеми, наверное, точно так же.

Наверно...

Я ему:

– А вот, Виктор Палыч, буддисты не велят оглядываться назад. Только здесь и сейчас и только тогда, когда научишься жить сегодняшним днем, только тогда – полный вперед в светлое завтра! Может, Витя, в буддисты подадимся – оно и полегчает?

И тут Виктор Павлович будто что-то вспомнил... И вспомнил такое!... Он, выпучив глаза и перейдя на полуслёпот, таинственно сообщил мне необычайный секрет избавления от всего этого. Способ, о котором я даже и помыслить не мог:

– А знаешь, как надо делать, чтобы не было этих воспоминаний? – я решил, что он взялся пошутить про алкоголь и уточнил:

– «Ночной колпак» – водку на ночь?!

Но всё оказалось менее предсказуемым. Палыч даже не заметил моей иронии и поведал тайну:

– Нет! Надо подёргать покойника за ноги, и тогда – никакой тоски и уныния... Всё сразу забудешь!

– Да ладно!

– Проверено! За лодыжки! – он был чрезвычайно твёрд и уверен.

– Так мы с тобой покойников-то давно похоронили?! – совсем удивился я.

– Так я ж про следующих... А тут уж – да, тут всё... – с нынешними, конечно опоздали!...

И ни грамма сарказма... И даже будто ничего, что ему уже самому семьдесят пять и одышка, и ноги едва волочит, и, скорее всего, в своей семье с дочерью, зятем и внучкой он сам – ближайший кандидат на «отъезд»...

Но для нас с вами не это главное.

Нет – не это!

Мы-то теперь будем точно знать, что делать: главное – надо за ноги подёргать...

Запомнили, как надо?

За лодыжки...

Сидим мы как-то с женой...

Футбол

Сидим с женой и смотрим по телевизору чемпионат мира по футболу из Катара. У жены на руках мирно лежит любимый котик Гриша. И тут вратарь одной из команд ошибся и пропустил мяч между ног. Вот досада...

Я говорю: «А вот в советское время был случай, когда вратарь, выбрасывая от ворот мяч с руки в поле, размахнулся, а он – мяч-то, соскользнул, да в ворота и попрыгал. Вратарь за ним скакал, скакал, но как-то неловко... Так вместе за линию и вкатились. А ещё один, – продолжаю я, – колумбийский игрок в 90-е годы на чемпионате мира срезал мяч в свои ворота, и сборная Колумбии проиграла. Приехали на родину, и болельщик–фанатик публично застрелил его из пистолета. Шесть пуль всадил и шесть раз прокричал: „Вот тебе гол! Вот тебе гол! Вот тебе...“»

Тут жена задумчиво и говорит:

– Представляешь, Гриша, если бы ты в колумбийских воротах стоял и сам себе закинул гол...? Наверно тебя бы поймали, привязали к хвосту консервные банки и гоняли по полю всем стадионом...

Гриша ничего не ответил. Или ничего не понял, или не представлял себя вратарём... Ведь он же мальчик, а они все хотят играть в нападении.

Утро

Сидим мы с женой дома в тепле.

Она смотрит в окно и говорит:

– Как же сегодня противно на улице! Пасмурно, ветер, ещё и снег с дождём, грязно...

А я ей нравоучительно и с наставлением, как старейший и мудрейший:

– Радуйся, давай! На том свете и того не подадут... Вот будем при смерти: за окном солнце светит, зелёные листочки распустились, птички поют, а нам уже всё равно. Всё это торжество нас не касается – завтра на тот свет. Выпали мы из процесса...

Так что радуйся всякой погоде и каждой ерунде.

Вот и вы все, давайте-ка не забываете и радуйтесь!

Хотим тоже...

Сидим мы с женой дома перед телевизором и смотрим новости дня.

Диктор с гордостью бодро утверждает, что российское

Правительство готово симулировать поддержку и спрос на отечественные товары.

Мы переглянулись, и давай наперебой тоже предлагать свою готовность симулировать поддержку не только отечественных товаров, но и поддержку многодетных матерей—одиночек, инвалидов и пенсионеров. Жена даже обязалась симулировать своим примером высокую рождаемость населения.

Прошёл целый час нашей эйфорической ажитации с желанием помочь всем, чем только возможно.

И тут новости по другой программе. Слушаем... А там не "симулировать поддержку", а стимулировать...!

И как тут жить? Только мы себя почувствовали меценатами и спонсорами Отечества, а тут — на тебе! Одной буквой весь порыв срезали...

Но сами-то они там давно симулируют и ничего — и даже не икают, не переживают и не раскаиваются: годами симулируют и симулируют...

Но может теперь-то, и впрямь букву "т" поставили куда надо, а затем и смысл поменяется?

Грабли

Я вот жене уже сто раз говорил: «Ставь грабли зубьями вниз!»

Нет, она, кажется, только и ждёт, что я когда--нибудь на

них наступлю!

И я сам каждый раз терпеливо их переворачиваю и снова говорю: «Не ставь грабли зубьями вверх!!!»

Я нервничаю... Раздражаюсь...

А когда я нервничаю и раздражаюсь, то у меня начинают трястись руки, и я промахиваясь молотком мимо гвоздя, бью себе по пальцам!

И как жить?!

Жить вредно... (на завалинке)

*«Первый шаг младенца есть
первый шаг к его смерти».*

К. Прутков

– Как жизнь, Матвей Петрович?! – радостно спросил Сашка, лихо и беззаботно приветствуя своего деревенского соседа.

– Да вот проснулся, и вроде красота кругом: птички щебечут, солнышко пригревает, не жарко тебе и не холодно, ничего плохого не случилось, весело и легко так на душе, голова и зубы не болят, коленки гнутся, живот тихонечко урчит – кушать просит. Съел геркулесовую кашку с маслом и клубничным вареньем. Вкусно...

– Вот и славно! – ещё задорней подхватил молодой человек ироничный тон старика.

– И тут думаю: ну вот – ещё одно счастливое утро приблизило меня к концу... Жена вон бродит по дому, шуршит... и тоже к концу движется. И ты, Санёк, особо-то не веселись: слышал небось фразу, что жить вообще вредно...

– Как-то ты, Петрович, тронул за здоровье, а подъехал за упокой. И часто нам следует вспоминать, что новый день убивает? – притворно возмутился Санёк.

– Может, и не надо травить себя знанием, но как? Делать

вид, что ли?

– Как-то забывать... – робко предположил Саша.

– Ну да, многие старики потому так и живут безоглядно и радостно, что, пребывая в Альцгеймере, ни черта не помнят.

– А ещё говорят, что вот и животные не в курсе своего конца, не знают и всё... И ведь счастливо живут.

– Жить-то живут... Но живут мало, – обречённо заключил Матвей Петрович.

Саша подумал, и вдруг брякнул прямо-таки, уж очень мудро, чем вызвал одобрительную улыбку Петровича:

– Надо, наверно, так: *memento mori* – помнить о смерти, но не глядеть в неё долго, а то будет, как с бездной у Ницше, ведь она костлявая начнет вглядываться в тебя.

Золотухин

Вот только не припомню: было это перед смертью Владимира Высоцкого или сразу после?

Но поскольку суть и течение моей истории это никак не изменит, я её начну...

Ночная смена закончилась в 9 часов утра. Пока то да сё: электричка, метро, две пересадки... Время к одиннадцати, основной поток пассажиров схлынул. И вот наконец вхожу в поезд на своей оранжевой ветке. Вагон полупустой, все пассажиры сидят, ещё и свободные места плешивят. На противоположной стороне с краю сухонькая старушка лет восьмидесяти в плюшевом полушубке и сером шерстяном платочке на голове. Ну, сидит и сидит. А я стою. Стою возле дверей, облокотившись поясницей на нижний поручень, и на стекле читаю:

«НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ».

Не прислоняюсь. Еду...

На следующей остановке двери открываются, и прямо передо мной возник чрезвычайно популярный артист Валерий Золотухин. Мать честная, я ж его с детства знаю! Ведь он так хорошо сыграл в фильме «Пакет», или «Хозяин тайги», или «Единственная»! А в «Бумбараше» как сыграл! Конечно, я сразу его узнал, но виду не подал и здороваться не стал. Не имею я такой привычки бросаться к известным людям

и заговаривать с ними. Неловко как-то... В Москве живет много знаменитостей, а раньше их легко можно было встретить вот так запросто в метро или на улице. Но тогда со мной это был один из первых случаев.

Он взошёл в вагон в демисезонном пальто, прямой и величественный, как мэтр на сцену, слегка опираясь на кривую и сучковатую, наверно, из вишнёвого дерева трость-клюку, покрытую тёмно-красным лаком. Самым примечательным в ней мне показалась диковинная рукоять с набалдашником в виде загогулины, похожей на голову какого-то зверя. Артист, сделав шаг, не стал садиться, а встал напротив меня около дверей. Мы несколько раз встретились взглядом. Я тогда уже имел привычку наблюдать за людьми. Не то чтобы навязчиво, а так, между прочим... И тут невольно было уже начал приглядываться, но он, не менее внимательный, любопытный и матёрый, пресёк это моё занятие, и я перестал глазеть, успев, правда, заметить, что он внимательно оглядел вагон, поворачиваясь с прямой спиной вполовину своего корпуса, будто, как говорила моя бабушка, «аршин проглотил».

Люди публичные, конечно, привыкают к назойливому вниманию, и, наверно, с годами им начинает этого даже и не хватать. Да что там!... Даже и пару остановок не могут проехать без восторженного на них взора. И это, пожалуй, не из жажды внимания, а скорее по привычке...

Но так уж сложилось, что никто, кроме меня, артиста не

признавал: один уткнулся в книгу, другой в газету, а некоторые дремали, прикрыв глаза или просто задумались.

Ну что ж, едем дальше...

Станция... Остановка... Двери открылись—закрылись. Новых пассажиров нет.

Поезд набрал скорость и продолжил движение...

И тут та самая бабулька напротив вдруг ожила и начала пристально вглядываться. Причём приложила даже руку ко лбу, и ну рассматривать известного человека совершенно безо всякого стеснения. Она делала это так явно и с таким очевидным любопытством, приглядываясь и ёрзая, что пробудила внимание не только сидящих возле, но и поодаль. Наконец неугомонная старушенция, опершись на поручень, встала и, сгорбившись почти пополам, совершила поход в три шага к предмету своего любопытства.

Валерий Сергеевич приметил бабушку чуть позже, но почти одновременно со мной. Она от него была сбоку, а для меня напротив. Артист явно приосанился и приготовился уважить пожилую гражданку – почитателя и знатока своего таланта. А та, продолжая держать руку под козырёк, подошла вплотную и вперилась, как на витрину. Затем причмокнула и на удивление очень крепким голосом спросила:

– Милок, я вот тебя спросить хочу...

– Да мать, конечно, спрашивай, – ласково и снисходительно ответил мэтр.

Он укоризненно и гордо поглядел на меня, затем ещё чуть

вбок на сидящих сограждан, мол, вот: «А простой-то народ знает своих кумиров – признаёт, уважает и любит!»

И тут бабулька протянула свободную руку к трости и брякнула:

– Ты вот, милоч, скажи – где такую клюшку-то прикупил?

Опешили все, кто в тот момент очнулся и уже наблюдал за процессом.

Золотухин «пал лицом из мэтра в недоумение», но, всё ещё сомневаясь в услышанном, зычным голосом не переспросил, а как-то протяжно и резко крикнул:

– Аааа?! – и поморщился.

– Я говорю, где ты палку-то купил? Мне как раз, вот такая нужна! – и вцепилась в клюку.

Большой артист профессионально «собрал лицо» и уже несколько доброжелательнее, но всё ещё будто отмахиваясь от назойливой мухи громко, внятно и членораздельно, как слабослышащей с досадой пояснил:

– Я её... не покупал. Мне друзья... из Германии привезли... Это подарок...

– Аааа... вот оно что – из Германии... То-то я смотрю... У нас таких нет, а мне бы такую...

Она отпустила трость и разочарованно пошла на своё место, продолжая что-то бубнить.

Мне вдруг захотелось, чтобы он ей сделал подарок, эдак «с барского плеча»... Но нет – подарки не передаривают.

«Станция Новые Черёмушки», – прозвучало в динамиках,

двери разъехались и артист, выйдя на платформу, пошёл прямой и стройный, слегка опираясь на клюку. Сзади под пальто при ходьбе вдруг стал заметен обруч корсета.

Только через много лет я узнал, что у Валерия Золотухина была детская травма ноги, и он, несколько лет проведя в инвалидной коляске, заработал костный туберкулёз. Но преодолел, встал и начал ходить. Сначала на костылях... Всю жизнь ему приходилось бороться и с этим тяжёлым недугом.

Тогда в метро, в той неожиданной ситуации с клюкой и бабушкой, было ему где-то около сорока лет. Самый расцвет артиста и певца, одарённого бесподобным природным талантом.

Виделись мы с ним ещё, лет через пятнадцать, и даже чуть побеседовали... Но, как говорит артист Леонид Каневский: «Это уже совсем другая история».

Ихняя...

Евонная, ёшная, ейный, ёная, ивонный, евошная или на-
класть...

Как вам больше нравится?

Замечаете ли вы, как часто употребляют в последнее время эти слова во многих телепередачах приглашенные не все-
бешные (слово в «ихней» стилистике) участники различных
ток-шоу?

Где их откапывают? Такое впечатление, что на половине территории России люди не читают, не слушают радио, не смотрят телевизор, а говорят только между собой и в студию попадают тёплыми, прямо из постели. А может, это неизвестные артисты отдалённых театров оттачивают своё мастерство на широком зрителе, коверкая речь и наряжаясь в странные костюмы, гримируя себя под беззубых алкоголиков с подбитыми сизыми физиономиями?... Тогда где сериалы с их участием? – Нетути!

Но самое изумительное, что грамотные и образованные ведущие этих передач не обращают на перлы безграмотности никакого внимания. Участники молотят как и что хотят, присутствующие в зале заглатывают, а зрители у экранов начинают полагать, что так и надо. Похоже, таким макаром нас приучают к новым нормам языка. И приучают нас, конечно, не те, кого мы наблюдаем в студии... Манипуляторы остаются

ся невидимками, сидя в глубинах неведомых кабинетов.

Какая же у них глобальная цель или задача? Думаю, что если у коммунистов в конце 19 века появилась благородная цель под лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – то нынче всё звучит проще и понятней: «На всё накласть!»»

Как я было поверил взрослым

Я уже несколько раз писал, что помню себя приблизительно с года от рождения. Но некоторые читатели не верят, а многие, напротив, понимают, что врать мне нет никакого резона.

И вот одно из первых воспоминаний. А может, и самое первое...

Вечер. Я лежу в своей детской кроватке и сквозь решётчатый бортик силюсь вступить в контакт с этим миром. Мир заключён в светящемся абажуре над круглым обеденным столом и трёх хорошо мне знакомых женщинах. Это бабушка, мама и тётя Таня. Все склонились. Бабушка всё время бормочет вполголоса, а две другие иногда коротко что-то вопрошают, вставляя своё. Я ничего не понимаю... Ничего! Меня уложили спать, но спать не хочется, я хочу общения, хочу в этот мир, где ничего не понять, но очень интересно.

И вот оно! Только одно знакомое слово, которое нас соединило! Его я буду ещё долго слышать от бабушки. Я даже ей расскажу об этом позже, лет через десять, и она будто бы даже вспомнит этот вечер и этот момент, но не точно, а как бы из своего сна... Но я-то, помнил точно, и помню до сих пор.

Меня, наверно, как и всех детей учили хлопать в ладошки: «Саша похлопай в ладошки, вот так!» – и показывали,

как же это здорово – хлопать. Хлопать полагалось от радости. И я, уловив смысл, стал вскоре хлопать, получая в ответ восторги всех своих родных.

Так вот, лежу я и вслушиваюсь. И тут среди бормотания и их диалога слышу это заветное слово и даже не только слово, а и целую фразу:

«Пустые хлопоты...»

Раз в неделю бабушка садилась гадать на картах. Это действие продолжалось во всё моё детство. И каждый раз среди прочего выпадала эта комбинация «пустые хлопоты». Потом-то я, конечно, понял, что к аплодисментам она не имела никакого отношения, но в тот вечер открылось окно в этот, такой новый, мир, и я радостно, что было сил, захлопал! Как всегда я ждал ответной радостной реакции на свои аплодисменты, но её не последовало.

Бормотание на мгновение прекратилось, на меня оглянулись и снова продолжили своё бу-бу-бу-бу...

Обидно, наверно, что-то не то или не так...

Через время снова фраза: «Пустые хлопоты...» Я опять хлопаю и что-то гу-гукаю, мол, обратите внимание! Они замерли и будто бы удивились. Тётя Таня подошла ко мне, что-то поправила, повернула лицом к стене и велела спать.

* * *

Моя крестная и по совместительству мамина родная сест-

ра семнадцатилетняя тетя Таня гладила постельное бельё. Гладила она его на столе на одеялке и простыне. Рядом утюги, которые попеременно разогревались на газовой конфорке. Тетя Таня периодически, указывая на утюг, тревожно повторяла:

– Ух, горячо! Нельзя! – слюнявила палец, чиркала им по поверхности чугуна или брызгала на бельё, набранной в рот водой. Улавливая только интонацию, я всё же понимал, что трогать утюг категорически запрещено, но стоя возле стола и снизу наблюдая за тётушкиными движениями, полагал, что она сама-то играет, а мне почему-то не даёт. Приятно пахло чистым бельём... Здорово! Утюги шипели и сердились, но тётя их совершенно не боялась и только меняла один на другой. Любопытно, очень любопытно!

Вы можете себе представить, как это интересно первый раз в жизни стоять и с расстояния в метр смотреть на утюг, бельё, слышать шипение, чувствовать и вдыхать запах пара! Это совершенно невозможно... Невозможно оставаться равнодушным!

Ну я и дерзнул...

Тетя Таня только на секунду оставила утюг на краю, видимо переворачивая очередную наволочку... Этого хватило, чтобы сделать шаг к столу, протянуть руку и положить ладонь на раскалённый чугун.

Рука зашипела, я её сразу отдернул, но было поздно. Волдыри, которые набухали на моих глазах и тотчас лопались,

испугали меня и я закричал, как ошпаренный, что собственно произошедшему почти и соответствовало. Было больно, но не очень – испуг покрывал всё... Но гораздо больше перепугалась крёстная. Она, что-то бормоча, потащила меня к раковине и поставила руку с волдырями под струю с холодной водой.

Пришла бабушка, потом мама, может и ещё кто-то. Все ругали тетю Таню. Бедная девочка! Она мне тогда, да и потом ещё много лет, казалась совсем взрослой, а сама-то была ведь почти ребенком...

Именно с тех пор я стал верить взрослым. Например, лет до двенадцати думал, что они не врут, всё делают как надо и «плохому» не научат.

* * *

Вот потому-то чуть позже и поверил своему отцу, когда он в ведре нашей огромной коммунальной кухни поймал мышонка. Как он это так ловко сделал, я уж и не знаю, только помню, что он держал его за хвост, а тот извивался и болтался, пытаясь освободиться. Отец подошёл ко мне и торжественно велел идти за ним в подъезд и на улицу. Я пошёл, было интересно... Вышли из дома, отошли немного, и папа очень нравоучительно сначала спросил: «Смотри, сын – видишь?!» Передо мной, прямо перед глазами беспомощно висел на хвосте мышонка: глазки бусинки, лапки розовень-

кие, сам весь в шёрстке и гладенький. Захотелось погладить его, как кошечку или какую-то птичку...

Но тут папа неожиданно и восторженно воскликнул: «Гляди, как с ними надо!» – и со всего размаха саданул мыша об асфальт... Тот несколько раз дёрнулся, пустил изо рта кровь, помутился глазами – бусинками и сдох.

Папа не унимался и, продолжая учительствовать, всё приставал:

– «Нет, ты понял! Понял, как с ними надо?! Отвечай!»

– Понял, – проямлил я съежившись и понял, что как-то странно всё это...

Видимо, отец тогда прилично выпил и решил воспитать во мне двухлетнем «настоящего мужика». На какое-то время пришлось ему поверить, он же взрослый...

* * *

Но был и ещё один крутой случай, когда меня, видимо, совершенно спонтанно решил впечатлить и воспитать дядя Боря.

И попробуй не запомни после этого некие события из совсем ещё раннего возраста с такими учителями...

День. Я привычно сижу в своей детской кроватке с перилами. Вокруг какое-то странное шебуршание среди взрослых. По радио, висящему меж двух окон, вещает диктор. Слышу знакомые мне три слова: «машина» и «брежет». Во-

прос: почему три, а не два, и что это за «брежет»?

Так ведь это «бритва – режет»! Когда я замороженно, буд-то за тёти Таниным утюгом, смотрел, как папа или ещё кто-то из мужчин бреется опасным лезвием, то всегда получал разъяснение, что, мол, нельзя хвататься за бритву – она острая и обрежет!

И тут вдруг слышу знакомое, а именно, что эта самая бритва, которая такая опасная и режет, вдруг едет себе в машине по Ленинскому проспекту вместе с ещё каким-то на букву «хру». Вот так причудливо формируется речь и запоминаются слова.

Хрущёв в этот день возвращался из Америки, и по Ленинскому проспекту въезжал в открытой машине в Москву. В той же машине вместе с ним расположился и его будущий сменщик Брежнев. Об этом и сообщил диктор по радио в прямой трансляции.

Дядя Боря, изрядно отсидев в тюрьме по уголовной статье и выйдя на свободу, люто ненавидел И. В. Сталина. Ветер перемен и политику разоблачения культа личности он встретил с восторгом, а Хрущёва возлюбил всей душой. И тут пришли такие уж совсем волшебные преобразования – наш лидер покати́л в США!

В конце сентября 1959-го было ещё совсем тепло, и потому погода позволила выкинуть дяде Боре этот фортель.

Он, запыхавшись, взбежал к нам в гости на четвертый этаж дома с окнами, выходящими прямо на Ленинский про-

спект, и маячил по комнате возле одного из окон, слушая прямую радиотрансляцию. Наконец, услышав по радио то, чего так ждал, он, распахнув окно, выглянул, перегнувшись через подоконник. Убедившись, что процессия приближается, дядя подскочил ко мне, ухватил под ребра и потащил к окну. Высунув меня из открытого окна на своих вытянутых руках, бывший уголовник вытаращил глаза и радостно захрипел: «Смотри, смотри – запомни! Вон – видишь, видишь! Лысого видишь! Запомни!»

И я запомнил...

Внизу с двадцати метровой высоты четвертого этажа, которая сейчас бы для меня ощущалась, как Останкинская телебашня, я увидел в машине две головы: одна лысая, другая лохматая.

И всё.

Моя мама и тётя Таня, остолбеневшие было от неожиданности, набросились на восторженного дядю Борю с проклятиями, а бабушка за эту проделку даже избила веником своего старшего сыночка. Но не больно, ведь он был самый первый и любимый, родился, выжил и тем самым утешил и долго радовал родителей после двух умерших первенцев. На него были самые большие надежды, с ним носились и нянчились, как ни с кем другим. Но... Наверно, так бывает частенько...

А я, повисев с голой задницей над Ленинским проспектом, тогда твердо понял, что взрослым надо безоговорочно

верить, и если верить твёрдо и не дёргаться, то уж точно не упадёшь, даже с высоты птичьего полёта.

Видео проезда по Москве я в интернете не нашёл, хотя наверняка съёмка велась, но последующие события со смещением Хрущева и обвинением его в волюнтаризме, вероятно, вызвали несоответствие пребывания двух оппонентов в одной машине. Наверно, видео уничтожили... Но моя память всё же зафиксировала один кадр!

И ещё я узнал и запомнил сразу три новых слова: «хрущёв», «брежнев» и «лысый».

Керри

Мы только недавно расписались и переехали, разменявшись с моей мамой.

Денег, как всегда, не хватало, но это не помешало купить несуразную собачку, которую мы, вокалисты, назвали Жермоном. Собачка был мальчик. Для тех, кто не в теме музыкальных дел или забыл, напомню, что так звали отца главного героя в опере Джузеппе Верди «Травиата». Наш Жермон был помесью пуделя с каким-то там терьером. Умнее собаки у меня не было. Попав к нам беззубым, он понимал уже всё с полутора месяцев. Отсутствие зубов, обнаруженное только дома, меня крайне смутило. Я позвонил однокласснику и спросил, с какого времени у собак вырастают зубы, и почему их нет у нашего? Он подумал и сделал предположение, что собачка может быть старой, и все зубы уже выпали.

Короче, стало понятно – пёсику месяц или менее. Беззубый Жермон в полтора месяца уже гулял и писал на улице. Ходил на поводке и без, естественно, знал кличку и своё место. Гений! Жена иногда звала его Пушкиным.

Приблизительно в год отроду Жермонка стал отцом. Было это так...

Я увидел бабушку, гуляющую с толстой, серебристой и кудрявой настоящей карликовой пуделихой. Они тихонько шли на поводке и вели друг друга степенно, без подёргива-

ний и суеты. Молодой жених был очарован кудряшками барышни и, будучи отвязанным, подбежал знакомиться. Жермончик очаровывал всех и всегда, он издавал звуки, похожие на человеческую речь, выразительно вставал на задние лапки, вертясь и подпрыгивая, глядел прямо в глаза и... так и хочется написать: хорошо и без ошибок писал, читал художественную литературу, декламировал стихи великих поэтов..., – но ведь вы не поверите?!... Да к тому же это и не правда. Да, увы – это не правда...

Мы все познакомились: бабушку звали Анна Максимовна, а её питомицу Керри. Девочка была сильно перекормлена, потому и на редкость спокойна для пуделя. Но Жермону, видимо, нравились толстушки, и он этого совершенно не скрывал. Ребята очевидно симпатизировали друг другу. И мы, родители, недолго думая, сговорились их поженить. У Керри второй–третий день была течка, и через неделю была назначена вязка. Бабушка, конечно, сомневалась:

– Куда я со щенками денусь?

– Не волнуйтесь, Анна Максимовна, всё берём на себя! Деньги на пропитание и продажу на «Птичке» – обеспечим мы с женой.

За неделю съездили на рынок и приценились: карликовые пудельки без родословной шли от ста до трехсот руб-лей. Решили, что Жермон тоже сойдёт за карликового пуделя, только чёрненького. Анне Максимовне мы сообщили, что готовы ей отдать двести руб-лей вне зависимости от того, сколько

их родится, но, конечно, не менее одного. Она согласилась, да и Керри было три года... Уж если рожать, то сейчас – либо никогда.

В двадцать один час, как только зазвучала жизнеутверждающая музыка Георгия Свиридова к ежедневной телевизионной программе «Время», мы решительно вышли на означенное свидание в укромный скверик.

Жермончик был активен, Керри не против. Таким образом, всё произошло самым естественным способом, по любви и согласию, при полном непротивлении сторон.

Через день решили сделать «контрольный выстрел». Дождавшись программу «Время», вышли в сквер и встретились вновь. Но ничего не вышло. Керри так злобно рывкнула на Жермонку, что тот мигом сообразил, что любовь закончилась и лучше не лезть. У собачек так бывает: если оплодотворение состоялось, то продолжения в этот раз не будет. Наш мальчик правильно сделал, что отстал... Это только с виду пудели похожи на декоративных мультяшных овечек. Однажды в гостях некая той-пуделиха, когда я решил её погладить, так сильно укусила меня за палец, что аж ноготь потом почернел, будто прищемили уличной бронированной дверью. Они собачки серьезные. Рассказывают, что когда-то один белый королевский пудель и вовсе на границе служил и даже задержал нескольких шпионов, а одного и вовсе загрыз. По истории его жизни позже сняли художественный фильм: «Ко мне, Мухтар» называется... Тут меня

опять несколько занесло... Не всё – правда, что я пишу, но многое...

А Жермон, через эту свою любовь к Керри обрёл ещё одно качество: он страстно полюбил музыкальную пьесу Свиридова «Время вперёд!». Если телевизор был включён в девять часов вечера и начиналась информационная программа, пёсик сначала замирал, а следом принимался скулить, подпевать, кувыркаться и куда-то всех манить. Очевидно, ему мерещилась где-то там Керри, которую под эту самую музыку могла привести в сквер на поводке её бабушка-хозяйка. Но, увы – Свиридов, программа «Время», музыка и Керри существовали совершенно отдельно друг от друга.

Месяца через два родилось шесть щенков! Одни кобели. Я прибежал принимать роды, но все уже повывезали, и оставалось только перевязать пуповину.

Ещё спустя полтора месяца Анна Максимовна взмолилась, и было решено начать продажи.

Щеночки подрастали очаровательными! Таких чудесных малышей мы даже не чаяли обрести... Они были с густой и кудрявой темно-серой или чёрной шерстью и рыжими подпалами на всех лапках и ярко-красной манишкой на груди! Абсолютные пуделёчки с уникальным окрасом! Соседка, матёрая собачница рассказала, что там – на Западе – такой раскрас – последний писк, и пуделя продаются влёт по тысячи долларов за штуку. А называется этот вариант пуделя «Арлекин»: «Так, – говорит, – и продавай!»

Я всё это взял на заметку, ну кроме цены, конечно...

В субботу на «Птичку» мы взяли двоих щенков и Керри как представителя от родителей. Я задорно выкрикивал какую-то хрень, типа:

– Покупайте! Карликовый пудель, редкий окрас – «Арлекин», отличный друг, охранник и отважный защитник!

Толстая, воспитанная Керри мирно сидела рядом в подтверждение моим речам.

За час продали обоих по 200 рублей!

На другой день история повторилась, и снова успех – ещё двоих реализовали за час! Через неделю по сто ушла и последняя пара.

Довольны были все. Но после расчётов с Анной Максимовной у меня осталось нехорошее чувство, что бабушку мы всё же с женой «нагрели». Надо было делиться поровну. Мало ли о чём договорились. Керри перевыполнила план вдвое. Но соблазн купить холодильник и телевизор победил. Анну Максимовну я иногда видал и позже. Она ещё лет пятнадцать гуляла со своей собачкой. Жермон после развода остался с женой. Его отдали куда-то на север тётке жены, где он и пропал...

Почему я это вспомнил?

Недавно в интернете прочитал декларационную фразу: «Никто никому ничего не должен». И ведь почти все подержали...

А я чем дальше, тем больше чувствую, что должен очень

многим. Так и кружатся в памяти те, кто мне помогал, а я только брал как должное и не отдавал. Вот сказал поэт: «Иных уж нет, а те далече...» Теперь и не отдать...

Мысль о долге у меня засела давно, и всё как-то пытаюсь искупить.

И тут снова встретил Анну Максимовну. Не виделись лет пятнадцать. Еду на машине, а она идёт... Ветхая такая... Торможу, подбегаю. Узнала не сразу. Обрадовалась.

– Я в магазин иду, – говорит.

Ну, мы и пошли вместе. Купил я ей мяса, колбасы, курицу, творога... Ещё, может, чего, не помню. Она обрадовалась, как ребёнок, всё приняла и давай благодарить... Напомнил ей те времена, когда она со своей Керри так помогла, и был очень рад вернуть хотя бы что-то и как-то. Расстались, как в последний раз. Она мне сообщила, что её на небе давно заждались, ведь скоро девяносто семь!

Прошёл год или более и... О, радость, снова вижу – идёт, колышется. Опять подбегаю, и картина повторяется.

Третий раз случился год назад. Бабулька хоть и слаба, но в полной памяти и разуме, пошутила на тему своего бесконечного пребывания на этом свете... Я предложил куда, может, её отвезти или чего привезти.

– Нет, не надо – это лишнее... Больше, Саша, уже не встретимся. Плохая я совсем...

Поглядела на меня так печально... и пошла с сумочкой и палочкой в подъезд своего дома.

Теперь уж года три минуло. Не встречал её больше.

Но на душе тогда полегчало: может, тут удалось хоть что-то вернуть...

Так к чему мы тяготеем: «Нет в мире виноватых», – как у Льва Толстого?

Или как у Ф. М. Достоевского: «Все за всех виноваты»?

А если виноваты, то и должны. Должны отдавать долги, пусть даже и не тем, кому задолжали.

Все мы – единое живое существо.

Курочка

Агафье Семёновне было уже за девяносто. Она и в молодости была небольшого росточка, а тут стала уж совсем крохотной. Бóльшую часть второй половины своей жизни она проработала дворником почти в самом центре Москвы, орудуя летом метлой, а зимой лопатой и ломом. От постоянного пребывания на улице всё лицо её исполосовали глубокие морщины, а подслеповатые глаза сощурились. От густых и чёрных волос осталась жиденькая седая косичка, которую она смешно заплетала, порой прибирая в пучочек на затылке, а иной раз и просто оставляла мышинным хвостиком на плече.

Под восемьдесят Агафью отправили на пенсию, и она от нечего делать разъезжала от сына к младшей дочери, затем к старшей и обратно. Поживёт-поживёт с недельку–другую и домой. Каталась по городу с пересадками совершенно самостоятельно. Но восьмидесяти шести лет подвернула но-

гу – вывих...

Пришла молоденькая врачиха и строго наказала бабушке лежать две недели и не вставать, только если в туа-лет. Она и не вставала, соблюдая наказ доктора.

Через две недели встала... Мышцы ног ослабели и не держат, ещё и сделалась почти совсем глухая и слепая.

Тут мой вам совет: когда доживёте до старости (если доживёте), то без особой нужды не ложитесь более чем на неделю. Организм подумает, что вы легли умирать, и начнет вам в этом содействовать.

С тех пор стали возить старую маменьку по детям на такси, и жила она у каждого уже не неделю, а месяц и более. До туалета и на кухню ходила сама, ела тоже сама, пыталась мыть посуду, но каждый раз неудачно – чашки и тарелки выскальзывали из слабеньких рук и разбивались. Сплошные убытки. Но ничего – жила и жила...

Частенько, приходя из школы, я бросал портфель и, вбегая на кухню, радостно спрашивал у неё, тихо сидящей возле круглого кухонного стола и перебирающей большими пальчиками сложенных рук, один вокруг другого:

– Как поживаешь, бабушк? – Мне она была прабабушка, но «пра» выговаривать было долго, и я укорачивал...

Она горестно вздыхала и равнодушно скоренько говорила:

– Не даёт Бог смерти. Не даёт...

Я, немного огорчаясь такому ответу, терялся и чуть пого-

дя молча шёл в свою комнату. Мы не разделяли настроения друг друга: она моей радости, а я её печали.

Прабабушка всегда, куда бы надолго ни отправлялась, разъезжала с одной и той же древней иконой, подаренной ей на свадьбу в 1907 году известным архитектором И. П. Машковым. У Машковых она была кухаркой. Он же сам, будучи из простой семьи и сиротой, выйдя в большие люди, всегда с уважением относился ко всем, кто составлял часть его непростой жизни, протянувшейся из Тамбовской губернии в Москву. По праздникам Иван Павлович приглашал собрататься в зале и торжественно дарил всей прислуге и их детям, всем без исключения, дорогие подарки. Это были золотые колечки, серёжки, перстни, кулоны, цепочки, браслеты. Отношение было, что к кухаркиным детям, что к своим — одинаковое. Играли и гуляли вместе. Только когда приходили учителя, то хозяйские, конечно, занимались и учились отдельно. А так...

Всё подаренное золото Агафья Семёновна растратила в вой-ну, меняя на хлеб. Тяжело ей было в Москве с младшим любимым сыном. Родила она его поздно, до последнего думая, что в сорок три года только поправляются.

В 1945 году, после Победы, И. П. Машков умер, дворовых распустили, и Агафья Семёновна стала дворником. Единственным подаренным, да так и не проданным ею имуществом, оставалась икона в серебряном окладе. Уж и не знаю точно, но, наверно, перевозя икону с собой с места на место,

она верила, как верят многие, по-язычески почитая именно её за самогó Бога как некий оберег.

Приезжая к нам, где моя бабушка была её старшей дочерью, Агаша сидела за столом на кухне или лежала в маленькой комнате на кровати в нише.

Сидя на кухне, она ждала кормления. Бабушка – дочь, приготовив суп, разливала его по тарелкам: своей маме – Агаше, мне и себе. Начинали есть... На первой же пробной ложке прабабушка, подозрительно прищуриваясь на дочь, заносчиво объявляла:

– Себе-то из другой кастрюли налила, – мол, знаем–знаем...

Молодая бабушка, начиная сразу от волнения и гнева задыхаться, резко переставляла свою тарелку матери, а её суп к себе. Агафья Семёновна, невозмутимо помешав ложкой в тарелке «новый» супчик, осторожно черпала его и размещала во рту. Прожевав и проглотив содержимое, она очень довольная с расстановкой произносила очаровательную фразу, которая сводила мою бабушку буквально с ума, а меня веселила до крайности:

– Ну вот – теперь совсем другое дело...

Чудила старушка...

Как-то, увидав меня, младшего школьника, она вдруг пристально взглянула и, указывая пальцем, спросила свою дочь-пенсионерку:

– Это твой муж?

На что моя бабушка, не сморгнув мгновенно и раздражённо ответила:

– Это твой отец!

Агафья Семёновна хмыкнула, оценив шутку и возразила:

– Э-э-э-э, что ты, мой отец – когда ещё умер?!

– А мой муж в сорок первом! – отрезала дочь.

Меня, подростка, конечно, всё это очень развлекало: «Какие смешные, эти мои две бабки...» – думал я, наблюдая за их разборками.

Однажды, проникшись внезапной нежностью и любопытством, я подошёл к Агаше, лежавшей в нише на кровати и взял её за руку с узловатыми пальцами, покрытыми прозрачной пятнистой кожей, и стал их зачем-то гладить. Девяностолетняя старушка, глядя перед собой белесыми, ничего не видящими глазами, как-то едва слышно закудаhtала и дважды ласково произнесла: «Мíлай... мíлай...». Я и тогда чуть не заплакал... Как же должно быть долго её никто не гладил и не жалел...

* * *

Прошло совсем немного.

Лето я всегда проводил в деревне. Там у тети Оли было полно всякой живности: куры, утки, гуси, кошка и даже овцы. На всё это можно было смотреть часами, развлекая себя наблюдениями за животным миром. Особый интерес, конечно,

но, вызывали драчливые и озабоченные петухи, несущиеся орущие куры и цыпляточки. Среди несущек выделялась одна маленькая белая курочка. Она ходила особняком и хорошо неслась. Петухи, а их всегда было двое, её любили и исправно топтали. Я сразу узнавал эту несущку по немного склонённому на бок гребешку. Шли годы, я вырослел, а курица всё ещё не была отправлена в суп. Тетя Оля вдруг начала её жалеть: «Семь лет ей уже. Нестись перестала, а в суп – жёсткая. Чего резать-то, пусть доживает».

И вот уж мне лет четырнадцать, курица – почти моя ровесница. Гребешок совсем свис и прикрыл один глаз, петухи на пожилую не кидались, ходила она пешком, пошатываясь, частенько приседая отдыхать. Я к ней запросто подкрадывался и без труда ловил двумя руками, аккуратно складывая крылья. Пойманная, она всегда громко орала, и приходилось её сразу выпускать, потому как к крику присоединялись петухи, другие куры и даже гуси. Да и тётя Оля этого не любила.

Но однажды я, как всегда, подкрался, поймал её, сел на лавку и посадил на колени. Курочка на удивление вела себя тихо и молчала. Я погладил её по гребешку, и она, прикрыв глаза, нежно и тоненько так завохтала, закурлыкала... Что-то очень уж мне это напомнило... Но что, сразу и не понять... А когда приехал из деревни домой в Москву, сказали мне, что бабушка Агаша умерла.

92 года.

Луковка

Накопилось всякого... Какой-то надрыв внутри и недовольство. Того гляди, сорвешься и всех разгонишь, а то и, как граф Толстой, сам куда-нибудь сбежишь.

Алексей вышел из метро и по пути домой забрёл в гастроном. Надо бы купить колбаски, молока, а если хватит, может, и пива.

И тут почти сразу в глаза бросилось: возле овощного развала стоит сухонькая—пресухонькая старушенция. Лет ей, наверное, двести... Породистая такая, волосы на голове прибранны и с красивым большим, несколько горбатеньким носом. Она не просто стоит, а примеряет размер и вес одного огурчика, одной помидорки и одной луковки к своему раскрытому кошелёчку с какой-то мелочью: то возьмёт огурчик поменьше, а помидорчик побольше, то наоборот; то в пакетик, то из пакетика; то луковку на огурец заменит, то на помидор. И всё время пошатывается от старости. Но при всём этом очень гордо себя держит... Очень. И всё прищуривается, зрение-то совсем уж плохое, можно сказать: ни хрена не видит, и всё к самому ценнику наклоняется.

У Алёши ещё с детства сразу начинало щемить где-то меж рёбер при виде подобных старичков, с очевидностью обречённых на совсем уж короткий отрезок, оставшийся от такой длинной и наверняка непростой жизни. И он никогда не

знал, как быть и чем помочь... А эта – ещё и такая вся горячая...

И тут вдруг разом, в секунду, всё сложилось!!

Достал Алексей из кошелька пятисотруб-левку, быстро подошёл, и прямо в ноги к бабушке. Она отшатнулась, а он поднял с пола бумажку и говорит:

– Простите, но Вы деньги уронили. У Вас только что выпало из кошелька... Вот... – и протягивает ей купюру.

Она растерянно смотрит то на Алёшу, то к себе в кошелёк, то на деньги... и наконец робко, но вроде берёт.

– Возьмите же, а то мне некогда! – вскрикнул молодой человек и, вложив ей денежный знак в ладонь, развернулся и мигом, ничего не купив и не оглядываясь, сразу рванул на выход. – А то ещё одумается и погонится – возвращать начнёт. Гордые – они такие...

Больше её Алексей никогда не видел. Не встречал и раньше, хоть и ходил в тот магазин много лет.

«Наверное, она пришла для меня. Теперь я знаю, что буду прощён!» – рассудил спасенный.

Целый месяц Алёша пребывал в радости с этим чувством. Да и потом, когда делалось на душе как-то нехорошо, вспоминал тот особенный случай и становилось тепло: «Какой же я был молодец, что так ловко тогда всё устроил!» – думал Алексей и улыбался, и улыбался...

Машина времени (полуфантастический рассказ)

Иногда в минуты отчаяния, недовольства собой или в силу сложившихся обстоятельств мы, сожалея об упущенных возможностях, с горечью восклицаем: «Эх, если б время вернуть назад и прожить всё иначе, то вот тогда...!» Очень уж нам хочется переменить ход событий в свою пользу с какого-то конкретного возраста или эпизода. Очень...

Мне бы, например, хотелось вернуться в самый конец 80-х. Там много чего можно исправить. Например, убедить моего состоятельного по тем временам родственника на все его честно заработанные за всю жизнь деньги купить квартиру, машину, дачу под Москвой и ещё какую-нибудь хрень. А не держать их в Сберкассе, дожидаясь краха 91-го года, а потом ещё и дефолта через семь лет. Несчастный Федор Егорович! В начале 90-х ему уже было за семьдесят и он, пытаясь хоть как-то сохранить заработанное, поверил в акции «Гермесов» – «Хапёров» и запихнул туда почти всё. Очень переживал...

Потом, в 98-м, продал свою однушку и переехал к жене, а деньги отнёс в банк и положил на депозит в руб-лях. Две трети квартирных руб-лей сгорели через месяц!

Не пережил. Заболел и умер, будучи накануне крепким

и здоровым.

Но если вам всё же захочется вернуться в прошлое от самого рождения, то тут может вас ждать ловушка. Ведь, как только проснётся разум, так и сразу следом появится желание жить иначе. Пройденные однажды пути будут исхожены, понятны и не интересны. А если решиться свернуть в каком-либо месте, то дорога дальше окажется совсем иной и снова приведет к ошибкам, да может ещё и фатальным. Наверно, упущенные возможности – это некий закон жизни. Может, они и никакие не возможности, а путь в пропасть, которая укрыта–сокрыта–прикрыта шторкой? И сами ошибки вовсе и не ошибки...?

* * *

Валера в 1998 году после всеобщего финансового краха так переживал за все свои неиспользованные возможности, что начал впадать в настоящую клиническую тоску и печаль, которую медики называют депрессией. Мысли и память его каждый день уводили в 80-е, когда он зачем-то женился не на той, да ещё и прожил с ней четыре года, когда всё почти сразу стало понятно, и надо было разойтись на первом же году совместной жизни. Потом воспоминания его заносили в начало 90-х, когда можно было оказаться возле государственного корыта, но он прохлопал ушами и должность, и деньги, и вектор всего грядущего движения. И вот теперь – этот

проклятый дефолт!

Возраст поджимал, было под сорок, и его уже никто не воспринимал как молодого и перспективного, которому хочется помочь. А даже напротив – все стали ждать поддержки от самого Валерия Кирилловича. И только тут стало вроде что-то получаться, складываться, выстраиваться, как вдруг обвал! Чёрте что! Этот козёл – глава Центробанка Дубинин – ещё вчера убеждал держать деньги в рублях, а вечно пьяный президент на вопрос телевизионного корреспондента о возможном финансовом крахе категорично рявкнул: «Нет!» Они нагло врали своему народу!

Или, может, это был для них чужой народ...

После этих многомесячных и ежечасных невеселых дум Валера и впал в ступор. Состояние его было словно... Нет, пожалуй, никаких ощущений не было... Было, как в сказке: «Что воля, что неволя – всё равно...»

И вот однажды на ночь глядя, совсем было заведя глаза для сна, он до того размечтался, что неожиданно изобрёл машину времени. Точнее, не машину, а некий способ очутиться в прошлом и что-то там подправить. Вы, наверное, спросите: как это он такое сотворил? А я и расскажу, ничего не тая, всё откровенно и как было на самом деле...

Валера уже почти не пил водки, изредка мог глотнуть вина, не курил – давно бросил – и только, как я и написал выше, грустил до крайности. В четверг перед сном лёг на спину, закрыл глаза и расслабился. Затем почти перестал дышать,

ощутил своё тело так, будто оно исчезло... И возжелал...

Возжелал спокойно, без судороги и напряжения – не из последних сил и не всеми фибрами, а так, будто знал, как должно возжелать, чтобы непременно сотворить.

И он сотворил. Точнее, оно само сотворилось... Валера выдохнул последний раз, и больше дышать не хотелось...

Сколько прошло времени, так и не понял, но с первым глубоким вдохом прошлое пришло само собой, как-то так «спокойно и просто», как поётся в старинном романсе. Валера открыл глаза и увидел ту же комнату, но несколько ободранную – какой она была до последнего ремонта. Привычно протянул руку к мобильнику, а его нет. Ещё нет... Он почти сразу всё понял: «Надо не спугнуть», – быстро сообразил пришелец из будущего и долго радоваться не стал: «Утро... Надюшка на репетиции в оркестре. Надо понять дату и время. Вот – телевизор и пульт. Телевизор тот же. Значит, как и хотел, – время близкое, и унесло недалеко». Включил видеоканал, где в углу время. В углу: 10.35. «А год-то какой, а число? И вообще – зима или лето?»

Выглянул в окно – листьев на деревьях нет, снега тоже. Сыро. Так осень или весна?

Звонок в дверь. Газовщик. Они по три раза в год ходят. Пока он водил приборчиком и чиркал спичкой, Валера ничего умнее не придумал, как спросить:

– Не подскажете, какое сегодня число?

Газовщик, мужик в вонючей спецодежде, не оборачива-

ясь, буркнул:

– Двадцать третье.

Неловко было спрашивать про месяц и год – ещё санитаров позовет.

Расписался в ведомости. Тот ушёл.

Надо бы десятичасовые новости посмотреть, там из контекста и пойму...

Да, так и есть: президент Ельцин, премьер Черномырдин и Дубинин агитируют за руб-ли.

Апрель 23-е, четверг, 98-й!!!

Завтра Кириенко назначат премьер–министром и выведут Черномырдина из-под удара. До дефолта ещё почти четыре месяца! Всё ясно, ещё всё можно успеть!

Никакого ремонта! На старой машине буду пока ездить. Надо набрать кредитов в руб-лях и потом перевести их в доллары. Курс 1:5!!! В конце года – обратно в руб-ли и рассчитаться с кредитами. Всё – решено! Класс!

Валера до 18 августа бегал и занимал в руб-лях деньги, где только можно. Затем менял их на доллары и бесконечно радовался всему, что происходило.

Иногда перед сном он «включал» свою машинку времени и под утро перемещался в будущее, из которого так удачно сбежал три года назад. И, убедившись, что пока всё, как прежде, к утру перетекал обратно.

С октября стал потихоньку уходить в руб-ли и рассчитываться с кредиторами. Купил Тойоту, сделал ремонт и на-

чал подбирать для себя хоть и всего-то двушку, но поближе к центру. Ещё через месяц под Новый год съездил на Мальдивы, оттуда в Куршавель, где познакомился и играл в теннис с миллиардером Прохоровым. Он так увлекся, что совсем было забыл про своё будущее. Но, приехав домой, вспомнил и захотел глянуть, как у него дела там – впереди, через пару лет...

* * *

Валера сидел на стуле. Руки были заведены назад, привязаны к спинке и перетянуты меж собой скотчем. Во рту мешался кляп, а из жопы торчал провод со штепселем от Надюшкиного электрофена, который валялся рядом на полу. Злого вида мужик требовал больших денег, о которых Валера не имел никакого понятия. «Кино какое-то с моим участием... что ли?» – только и успел он подумать, как огрѐб сзади от кого-то по голове пластиковой двухлитровой бутылкой с водой.

Спать не давали. Машина времени не включалась и больше не работала.

Вобляяяя¹...!!!

¹ Вобля – река в Московской области, приток Оки.

Одиночество

В начале 90-х Славкина недавняя и внезапная любовь укатила на долгие гастроли. Очень долгие. Ему тогда показалось, что именно эта женщина абсолютно своя, которую он так давно поджидал и предчувствовал, и даже, если сказать несколько переделанными словами пушкинской Татьяны в письме её к Онегину: «Ты в сновиденьях мне являлась...»

Так вот, она уехала, а он остался. И тут кругом началось...

Прошёл месяц–другой, и Слава решил, что вместе с государством рушится и всё его будущее. Надо срочно искать и создавать в личной жизни нечто новое, иначе «пиши – пропало».

Среди кандидаток на замену были спешно отсмотрены свежие недавние, а также прежние, хорошо и не очень знакомые. Но на титул «моя», в смысле «своя», никто не потянул. Некоторые, вызывая внезапную интригу, так же стремительно её лишались. Чаще это было некое саморазоблачение: то дама была слишком молода, и, как казалось Славику, глуповата; то старовата, и перспективы с ней никак не выстраивались; то внешне не очень... Короче, можно долго перечислять, но после давнего развода Слава понял самое главное: женщина должна очень нравиться. И всё! Чем? – а хрен его знает, просто должна быть своя и внешне, и внутренне!

Должна очень нравиться, и в том главный расчет.

Никто не подпадал под это определение, будто своя была именно та – уехавшая...

И вот на третьем месяце относительного одиночества вдруг вспомнилась ему Ленка. Она провожала в армию, но формально дождавшись, при первой же встрече сообщила, что выходит замуж, и если никаких претензий нет, то сделает это с лёгким сердцем. Слава совсем не признал её за ту – свою, которая его когда-то провожала, и отпустил трижды перекрестившись. Да и женитьба сразу после дембеля уж точно не входила в планы. Совсем...

И вот теперь подумалось: а вдруг, вдруг – это оно, то самое?! Ведь она очень нравилась тогда. Да и он ей тоже. Обоим было восемнадцать... Ничего такого взрослого тогда не случилось... И можно, можно бы, наверно, снова начать...

Порылся в записных книжках, нашёл, но звонить не стал. Полистал ещё... Ага – вот он, телефон её подруги!

Оказалось, что всё очень даже хорошо складывается: Лена год назад развелась, дочке десять лет...

Затем набрал и её номер. Такой знакомый голос! Очень обрадовалась, не ожидала... Как-то сразу покатило в разговоре и у Славки.

Ленка была красивая, стройная блондинка и какая-то понтовая, что-ли... Могла бутылку водки в компании на спор выпить и не упасть. Курила и любила засадить матом, но по делу. «Наверно, это судьба», – подумал, вешая теле-

фонную трубку, ещё молодой тридцатилетний Слава.

Ленка примчалась в тот же вечер с бутылкой столичной. К её приезду он отварил картошку, пожарил мясо, достал баночку с маленькими огурчиками и на звонок в дверь с надеждой её открыл.

Да – это была она, такая же эффектная и белокурая, и стройная. И даже как будто ещё стройней. Да, много-много стройней... Она сразу обняла Славу, как родного, и поцеловала поцелуем сильно и давно курящей дамы. Запах не табака, а будто даже какой-то спёртой гари шибанул в нос и удивил своей чрезмерной резкостью. «Ну, да ладно, ерунда, подумаешь... Просто давно курит», – подумал хозяин квартиры, помогая гостье раздеться и указывая, куда пройти. Вошли в комнату, сели и о чём-то немного поговорили. Так всегда говорят ни о чём и обо всём, мол, как там она и как ты? Она несколько раз улыбнулась...

Вот всё говорят, что глаза – зеркало души. Наверно, так. Но суть души – губы: их очертания, как они выговаривают слова, как это всё соотносится с улыбкой и всей остальной мимикой и, главное, с зубами. Да, с зубами...

А зубы у курящих женщин, если они их регулярно не чистят у стоматолога, становятся коричневыми... И это очень хорошо заметно. Особенно жёлтые зубы бросаются в глаза, когда вы и сами с молодых ногтей курили, а недавно громадным усилием воли бросили. Вы уже год не курите. А она курит... Вроде девочка, а курит... И не какие-то там ментоло-

вые, а чёрте что курит и вся провоняла, как урна в солдатской курилке...

А улыбка у неё десять лет назад была такая приятная, такая белозубая! Эх!

Ну, да ладно! Закуска стынет, водка тоже, того гляди выдохаться начнёт. Выпили и поели. Затем ещё выпили, и ещё выпили, и ещё... Вячеслав всё думал: «Не обязательно же пузырь лупить до дна!» Но нет, подругу было не остановить. Выпили всё и съели тоже. Ленка всё чаще блистала светло-коричневой улыбкой, наверно, чего-то смущаясь. Вдруг, видимо добравшись до нужной кондиции, она прекратила улыбаться и, сделавшись томной, прямо возле стола, быстро сняла кофточку, юбку и что-то там ещё, подавая таким образом очевидную заявку на изменение конфигурации вечера и предлагая действие в иных реалиях. Затем Елена произвела ряд пластических этюдов непосредственно перед Славиком, изрядно его изумив. Дело в том, что прошедшие годы превратили стройную нимфу в откровенную анорексичку. Всё в её внешнем виде пугало острыми углами и ребрами, которые, как на флюорографическом снимке, не только были хорошо различимы со стороны лица, но и проглядывали от лопаток до самого копчика.

«Надо же, какая стройная...» – подумал вслух Славик и пригласил пройти даму в спальню.

У Славы всегда всё было хорошо, без сбоев и осечек. И в этот раз организм тоже не подвёл. Но вот тут-то, Славке

вдруг и стало не по себе... И не от худой анорексичной фигуры, и не от запаха пожарища или выпитой водки, и даже не от зловещей Ленкиной улыбки... Самое страшное было то, что она во всё продолжение интимных мгновений с нарастанием орала и орала на весь дом только одно-единственное слово... И ужас заключался в том, что слово это отражало для Славы всю суть его мучительного поиска в последнее долгое время. Лена, как заведённая, кликушествовала: «Мой! Мооой!! Моооооой!!! – короткая передышка и снова, – «Мой! Мооой! Моооооой!!!»

«Какая насмешка! Она же никакая не моя...» – с горечью понимал наш герой, неотвратимо и обречённо впадая в уныние прямо во время процесса.

Вот горе-то! Ведь, наверно, и Славка был тоже не её, но барышня, видимо, так отчаянно пыталась убедить в этом и его, и себя, что потеряла всякую адекватность и чувство меры.

У одиночества много разных форм и оттенков, и здесь оно проявилось именно так...

Под утро она села в такси и уехала. Наверно, чуть позже всё поняла и даже не перезвонила. И правильно сделала.

А Славик решил так малодушно больше не размениваться и просто ждать... Будь, как будет. Ведь своего человека так трудно найти! Не придуманного «своего», а своего-своего!

С гастролей-то, он её – свою – тогда дождался, и после года различных перипетий они стали жить вместе. Но для

Славки с тех пор на слово «моя» было наложено табу. Тонкая это материя: сегодня моя, а завтра – будто совсем чужая, или ты ей стал вдруг чужой, не подходящий и не нужный.

Любовь она такая – тишину любит.

Прилетел!!!

Как же мы тогда бежали!

Большую часть жизни я думал, что это происходило 12 апреля 1961 года. Но вот, оказалось, что на пару дней позже – четырнадцатого.

Мне было почти три с половиной года. В детском саду ближе к дому тогда появилось свободное место, и меня туда перевели из младшей группы садика на Шаболовке.

Нами занимались две воспитательницы: одна злая, а другая добрая. Злая меня не любила, потому что я иногда мог в тихий час во сне описаться, и меня надо было переодевать. Делала она это с раздражением, шпыняя и дёргая за руки и за ноги. А добрая жалела и меня, и мою бедную маму, которой подобное приходилось проделывать чуть ли не каждую ночь, и, наверно, сочувствуя ей, не ругалась и не злилась совершенно. А я в её смену успокаивался, и всем на радость почти всегда оставался сухим.

В тот знаменательный день по радио, которое было всегда тихонько включено в игровой комнате, какой-то дяденька голосом медведя что-то торжественно прорычал и все дружно: добрая воспитательница, нянечка, повар и медсестра засуетились, повторяя одно и то же слово – «Гагарин». Всех детей стали срочно одевать. Мы помогали в этом, что есть мочи. Толком ничего не понимая, всё же важность момен-

та дети почувствовали сразу. Через десять минут все были наспех одеты и обуты. Старшие группы со своими воспитательницами оказались уже на улице и впереди.

Бежать надо было по улице Кравченко к Ленинскому проспекту. Это, как я сейчас понимаю, метров триста.

О том, что Гагарин прилетел на аэродром во Внуково, сел в машину и вместе с Хрущёвым едет, большинство москвичей узнали по радио только минут за пятнадцать до их появления на окраине города.

Жилая многоэтажная кирпичная Москва тогда начиналась с пересечения Ленинского проспекта и улицы Кравченко. При въезде стоял огромный фанерный трафарет с изображением герба СССР. Я хорошо знал это место, мы с мамой весь прошлый год проходили мимо, когда ездили на Шаболовку и обратно: мама на работу, а я в ясли. Вот туда-то, к трафарету, мы и устремились всем детским садом в сопровождении персонала. Оказалось, что вместе с нами бегут взрослые и дети с других улиц, переулков и дворов. Воспитатели буквально умоляли нас прибавить, подбадривая и подталкивая то одного, то другого. Ажиотаж и возбуждение достигли не меньшего апогея, чем сам полет космонавта. Мы бежали и бежали, свято веря, что так и только так и надо! Добрая воспитательница (забыл её имя) чуть не плакала от бессилия нас ускорить.

Но как? – в три, или даже четыре года дети бегают медленно... Да ещё и в зимней одежде.

Я не очень понимал, зачем мы бежим и кого там должны увидеть... Но вот уж и фанерный трафарет показался впереди. И там же, вдоль проспекта – толпища взрослых людей! И отовсюду, это слово «Га-га-рин»! И тут, метров за двадцать до проспекта, мы останавливаемся, так и не успевая... Да и нет смысла дальше бежать – все стоят плотно сомкнувшись. Наши сопровождающие показывают руками вправо в сторону области, от центра на гору, откуда приходит асфальтированное шоссе, и кричат: «Вот он в первой машине!» Я уже знаю слово «машина» и что она ездит. Воспитательница на мгновение подхватывает меня и приподнимает вверх! Я вижу, вижу эту самую машину! В ней кто-то...

Она мелькнула и скрылась за стеной восторженно встречающих.

Это всё...

Ура!

Гагарин прилетел!!

И первый раз ещё не мысль, а чувство: мы все единый народ!!!

Я и сегодня люблю смотреть хорошее кино не в компьютере, а по телевизору, зная, что в тот же миг вместе со мной фильм смотрят и переживают ещё несколько миллионов моих соотечественников.

И все мы вместе куда-то всё ещё бежим. Только куда? Может, так и надо, так и должно быть...

А добрая воспитательница после этих событий полюбила

меня совершенно, как родного, называла Гагариным и сожалела, что при рождении мама не назвала меня Юра.

Сасок плисол!!!

(фантастическая история)

Мы двоюродные братья. Я на два года старше Серёжи. Братик сызмальства был такой хорошенький, такой миленький! Правильные черты лица, карие глаза, темно–русые густые волосы... Я часто гостил у них в семье, мы дружили и никогда не дрались.

Возвращаясь домой, я подробно рассказывал о том, как провел день в гостях: во что играли, о чём говорили, что ели, куда ходили...

Как-то я спросил бабушку:

– А почему Серёжина мама и тётя Валя зовут его «Селёзынька»?

– Да потому что они две взрослые дуры: нельзя с ребенком сюсюкаться – дураком картавым вырастет!

– А ещё они ему говорят: «На, Селёзынька, пососи сляденький леденецик».

Бабушка поглядела на меня так, будто это я предлагал брату пососать леденечек, и добавила ещё строже:

– Надо шоколадные конфеты есть, а от леденцов – зубы почернеют и выпадут! Будет картавым и беззубым дураком... Они там совсем очумели, воспитатели!

Бабушка была очень категорична по отношению к снохе,

всей её родне, и, соответственно, к своему младшему внуку. Категорична, но не безапелляционна.

– Тебе тоже предлагали?

– Да...

– И...?

– Я отказался.

– Правильно!

Как-то раз, пока я был в школе, Серёжу привезли в гости к нам... Вхожу... Навстречу из комнаты выбегает радостный, заждавшийся меня братик и на всю квартиру орёт: «Сасок плисол! Сасок плисол!»

Так меня больше никто и никогда не называл.

Логопеды, психологи, педагоги... Всё было напрасно. Так, до самого моего призыва в армию «Саском» и величал. Да и потом не выговаривал... Учился он на твердые двой-ки, и это всегда было поводом для иронии его папы:

– Эх, сыночек! Никакой ты не Серёжа, а двоечник Акакий. Отец у тебя Акакий, и ты Акакий... Значит, так и будем теперь тебя называть – Акакий Акакиевич, – приблизительно цитировал он Николая Гоголя.

Сереза отвечивал нижнюю губу, весь надувался, краснел, и начинал плакать, сквозь слезы выкрикивая:

– Не-е-ет! Я никакой не Какий, я – Селёзынька!

Тут подключалась мама и, притворно жалеючи, добавляла:

– Не надо тебе, сыночек, хорошо учиться, а то потом, чего

доброе, в институт поступишь и будешь инженером и, как твой папа, за сто руб-лей работать. Это замечательно, сынок, что ты так плохо учишься – сантехником станешь! Знаешь, сколько они зарабатывают?

А ещё у Серёжи сильно болели зубы: сначала молочные, потом и коренные. Многие до срока повыпадали...

Через двадцать лет почти ничего не изменилось, не считая того, что он женился, и у них родилось двое детей. Жена его тоже пришепётывала, но у неё это очень мило получалось – всего-то пару букв не выговаривала. У многих такое в произношении. Она опускала на миг верхнюю губку к нижним зубам и нежно так промямливала: «Да, фто Вы, конефно люблю! Я офень люблю свиной фафлык...» – и краснела... Уж такая стеснительная была!

А вообще-то, они оба выглядели красивой парой.

Но не гармоничной...

Глядя на них, я всё думал: «Как это она с ним таким... живёт, ведь дуб несусветный?» Но они жили: он – присюсюкивая, она – пришепётывая. Прожили долго, но не очень.

В итоге она сбежала с детьми к его же начальнику.

Трагедия, прям...

Но не такая уж, конечно, и трагедия. Через пару лет Серёжа ещё раз женился. Красивый ещё был тогда, да и пил не часто и не так много. Работали они с супругой вместе. А это очень сближает... Ведь вон как близки были Антоний и Клеопатра или Михаил и Раиса Горбачёвы, или нашедшие

друг друга в правозащитном деле Андрей Сахаров и Елена Боннэр.

Сантехником Сергей так и не стал. Не случилось... Трудились они с женой на стройках разнорабочими.

Ну, а бабушка оказалась почти во всём права: нельзя в общении с детьми сюсюкаться и коверкать язык. Нельзя!

И ещё...

Лучше бы и впрямь всем и всегда вместо леденцов питаться шоколадными конфетами или, на худой конец, карамелькой «Клубника со сливками».

Жалко, конечно, жалко мне было тогда Селёзыньку... Мама у него умерла совсем рано, когда он ещё и школу не окончил. Да и папа недолго прожил.

Но в сорок лет он неожиданно бросил пить, во второй раз развелся, поступил в финансово-экономический институт и окончил его с красным дипломом. Дальше – больше и круче: Сергея Юрьевича волшебным образом разглядели, оценили и пригласили аналитиком в один из крупнейших банков Европы. И там, проработав не больше года, он совершил нечто...

Он предсказал за какие-то три дня до обвала глобальный мировой экономический кризис. Но это не всё: Серёжа сумел в том убедить руководство, и оно (руководство) срочно вывело все свои активы из акций и облигаций в кэш! Когда спустя время оказалось, что это был чуть ли не единственный банк, который уцелел в катаклизме и избежал заимство-

ваний, Сергея Юрьевича выдвинули кандидатом в Лауреаты Нобелевской премии. Но в результате он её не получил. Вмешались политические соображения и амбиции, и премией был награждён американский экономист Рубини, который тоже то ли угадал кризис, то ли его предсказал.

Но Сергей в накладе не остался. Ему выплатили огромную премию от спасенного банка, размером с такую же, как и Нобелевская. Он ещё немного поработал в Европе, вставил там зубы и уехал обратно в Россию – жить. Недавно с ним виделись...

– Пливет, Сасок! – всё так же просюсюкал братик.

– Здорóво, Акакий! – ответил я.

Серёжа отвесил нижнюю губу, надулся... Но плакать не стал.

Повзрослел.

Страшное дело!

Трампа арестовали за возможную связь с женщиной...

Даже подозрения в шпионаже в пользу России несколько лет назад не привели к аресту. Тогда его допросили, отключили от интернета и отпустили править Америкой дальше.

А сейчас грозит больше ста лет тюрьги!

Господи, у меня их, этих самых женщин, было... несколько! Значит, если бы я жил там, то мог бы схлопотать несколько тысяч лет.

Вобляяя²!

² Вобля – река в Московской области, приток Оки.

Я пошёл в магазин...

Дедушка Николай Митрофанович сам причесался, оделся, надел зимние ботинки и громко объявил: «Я пошёл в магазин!» Все домашние повылезали из своих комнат.

И тут он остановился и замер, вспоминая, какую из дверей надо бы открыть... Одна была белая, другая тоже белая, ещё одна, поменьше – совсем белая и самая большая дверь – коричневая с обивкой. Последняя была явно тяжёлая, с щеколдой и накладным замком. Глядя на неё, дед как-то оробел и понял, что, наверно, с замком не справится, и лучше, если дверь в подъезд будет другая, например, та – самая первая. Её он и открыл. Это была кухня. В нише стоял холодильник. С холодильником было всё ясно. Он подошёл к нему, дёрнул ручку, дверка открылась. На полках лежала колбаска, сыр, масло, в бутылке стоял кефир и что-то ещё в кастрюльке.

Поняв, что он опять обмишурился, и пока внуки не начали хихикать, решил пошутить первым: «Ну, вот и пришёл!» – сказал он с деланной иронией, будто бы давно понимая происходящее как задуманную им самим шутку.

Но никто не засмеялся, и от этого стало ещё более неловко.

Однажды прошлой весной случилось прозрение, и он открыл входную дверь. Чуть пройдя по лестничной площадке, подошёл к распашным дверям, нажал на кнопку в сте-

не и вызвал лифт. Когда тот прибыл, смело шагнул в кабинку и, увидав знакомые циферки этажей, вдруг позабыл, куда надо ехать, чтобы очутиться в гастрономе: вверх или вниз? ... Двери несколько раз сами закрылись и открылись, где-то в подъезде начали что-то орать, и дед, скоренько выскочив из кабинки лифта, обратно прискакал к своей двери, домой, в квартирку, на любимый диванчик от греха подальше. С тех пор даже и не пытался... А тут – на тебе, разобрало...

Дед с каждым годом чудил всё больше. Со старшим тридцатилетним внуком Серёжей говорил, как с малолеткой из детского садика, а третьеклассника Кирюшу вдруг стал пытаться: насколько разнообразно и интенсивно у него проходит половая жизнь.

Сначала дедушку злила непонятливость всего окружения. Например, когда он говорил: «Я сегодня с большим удовольствием съел бы «эту» с чаем», – то очевидно же было, что речь шла о бутерброде с красной рыбой... Но его не хотели понимать и будто даже специально прикидывались глупыми. Когда младшенький внучек Кирилл не хотел отзывать на имя своего отца Витьки, то он тоже будто бы делал это с умыслом – одурачить деда. Казалось, все и всё понимают, но изображают, что «тормозят».

Потом стало ясно – это не они, а это он сам...

И тогда появилась осторожность, за ней пришла робость, а уж опосля и хитрые ходы с вывертами.

И тогда Николай Митрофанович стал постоянно смотреть

телевизор. Там многое было понятно, а если что-то не очень, то ведущие передач толково все разъясняли по второму, третьему и даже десятому разу.

И тут случилось...

В Америке избрали Байдена. Пожилой человек сразу вызвал у дедушки и понимание, и сочувствие. Митрофаныч, примеряя его должность на себя, всё чаще приходил в ужас: «Как только можно было старику такое на себя повесить и тащить?! Ведь он, как и я, даже двери не различит, замок не откроет и сам нужную кнопку в лифте не найдёт! А ему же ещё надо иногда и ядерную кнопку нажимать! Нет, это он не сам – это на него повесили!»

И наконец, когда Байден трижды споткнулся на трапе самолета и отовсюду понеслись насмешки, Николай Митрофанович пришел в полное негодование и решил устроить одиночный пикет в защиту Президента США. Пикет он задумал провести перед зданием управления жилищными лотерейными билетами «Золотая подкова». Почему именно здесь, спросишь ты, дорогой читатель? Так всё очень просто... С молодых ногтей дедушка любил творчество Владимира Высоцкого. А у поэта в какой-то там песне, точно уж и не вспомнить, но кто-то написал ноту протеста в Спортлото, ожидая положительного результата. Да и офис лотерейки располагался тут же, неподалеку, на Волгоградке, в соседнем доме. Его он хорошо помнил ещё с тех пор, когда сам активно играл в надежде облагодетельствовать большим выигры-

шем всю семью и спокойно умереть с чувством выполненного долга. Но выигрыш никак не приходил, да и билеты уже теперь покупала и сама проверяла невестка сына – Настенька.

Конечно, рисовать плакат дед не стал, да и не смог бы, но вот просто стоять и кричать на улице возле здания Жилищной лотереи он бы ещё очень даже смог. Текст речёвки был сочинён короткий, чтобы не забыть, но ёмкий и оригинальный: «Свободу Джо Байдену!»

С этой целью и был задуман нынешний поход, якобы, в магазин. Но всё сорвалось ещё в лифте, и Джо остался без поддержки Митрофаныча.

Сидя на своём потертом диване, наверно, только один наш дедушка во всем белом свете сердечно переживал за президента самой мощной и такой далёкой, но совсем недружественной страны, иногда причитая и вопрошая, то ли небеса, то ли членов правления государственной лотереи: «Как-то там теперь будет в мировом сообществе? Где силы доброй воли, где тот вселенский разум, который всех оградит и защитит?! Господи!...»

Иногда Господь ему что-то там отвечал, и тогда дедушка становился бодрее и веселее.

Дядя Боря

*«— Зачем живёт такой человек!»
(Ф. М. Достоевский)*

Дядя Боря очень любил учить и рассказывать о том, как было и как надобно быть. Он и впрямь многое в жизни понимал и знал, испытал и перенёс. Отсидев в тюрьме восемь лет из пятнадцати, назначенных ему за воровство, он в 1953 году вышел по амнистии с чувством большой гордости от собственного героического прошлого. Ведь Боря взял на себя, шестнадцатилетнего, вину за всю группу взрослых подельников, которые таким образом, избежали расстрельной статьи, а мальчик, как исполнитель и как организатор сел за всех.

Фактуры он был замечательной: высокий, стройный, голубоглазый, с классическими правильными чертами лица. Много читал, хорошо говорил, любил и знал оперу, декламировал наизусть стихи и даже, произнося тосты, вёл себя, как настоящий артист.

Несмотря на то, что проходил он по уголовной статье, Сталина не любил, а заодно с ним и всех коммунистов считал бездельниками, присосавшимися к телу трудового народа.

Был Борис чрезвычайно правдив и прямолинеен. Недолго погуляв холостым, он женился на молодой женщине из со-

седнего дома, от которой у него родились две девочки. Однажды, Борис Николаевич выпив и закусив на семейном торжестве в честь Международного женского дня 8 Марта, в порыве припадка правдивости взял, да и рассказал всем гостям, что женился он не по любви, а так – из удобства, мол, рядом жила, вот и женился. А любил-то Тоньку из другого дома:

– Помнишь, Марусь? – обратился он к своей жене, сидевшей рядом, – Тоньку помнишь?

– Конечно помню, – смущаясь, отвечала Маруся и виновато улыбалась.

– Вот она-то, мне очень нравилась. А ты, – дядя Боря секунду подумал и выдал, – прилипла, как банный лист, я и поддался.

Родня с возмущением принялась ругать и стыдить Бориса Николаевича за такие слова...

– Но это же правда! – с пафосом отвечал оратор, – я что, должен соврать?!

Конечно, присутствие дам и отсутствие мужского пола в окружении Бориса, распустило его и лишило каких-либо барьеров и поведенческих границ. Кому уж тут давать по мозгам? Рядом пожилая больная мать; Маруся, которая была робкой сиротой; две дочери; сестры и брат – все намного младше.

Правда первое время после освобождения из тюрьмы за общим столом ещё присутствовал дядя Ваня, вернувшийся с вой-ны без ноги и на костылях. Дядя Ваня был мужем тё-

ти Моти или, как её называли на ткацкой фабрике – Матрёна Акимовна: почтительно и именно – Матрёна Акимовна, потому что партЕйная. Она умела читать и грамотно писать, но эти умения не спасали Мотю от регулярных побоев дяди Вани, у которого на почве ревности съехала крыша. Поводом могло стать всё... Однажды по радио, которое было всегда включено на случай объявления вой-ны, прозвучало: «Ария Роберта из оперы Петра Ильича Чайковского «Юланта». И вот, когда известный прославленный баритон запел первую восторженную фразу: «Кто моооожет сравниться с Матильдой моей!», – дядя Ваня схватил костыль и с криком: «Это ещё почему! Почему он тебя какой-то «мотыгой», да ещё и „своей“ обзывает?!!!» – стал яростно долбить по жене тем самым костылем, гоняясь за ней по квартире. Матрёна абсолютно не представляла, каким образом она может оправдаться и в чём провинилась. Кто привиделся ветерану в качестве соперника в тот раз: Петр Чайковский, баритон или автор оперного либретто, теперь никто и никогда не узнает, но факт в том, что Матрёна Акимовна была, не только сильно избита, а и изгнана на улицу, прочь – куда глаза глядят.

У настоящего участника боёв с фашистами, одноногого и не раз контуженного воина, были явные отклонения в психике. Если захмелев за праздничным столом, что-то ему не нравилось, либо кто-то не то или не так сказал, то он моментально зверел, костыль превращался в битую и, размахивая им

прямо перед едой с напитками, он ударял по столу, а то и по различным частям тела провинившегося.

Борис откровенно его боялся, был почтителен и предупредителен. Короче, уголовное прошлое никак не катило перед воевавшим и много раз ходившим в штыковую атаку солдатом.

Ничего не рассказывал о вой-не дядя Ваня. Бурчал только, что убивал, и это было страшно... Перед семейным застольем, он, собираясь предстать перед гостями, привязывал ремнями к своей культе протез, кряхтел, морщился и, будто дикий волк, ощериваясь и стараясь быть добрым, подзывал к себе маленького пятилетнего мальчика – дальнего своего родственника, стоявшего поодаль и краем глаза наблюдавшего за фокусом с отстегнутой ногой, говорил: «Вишь – третья нога выросла... Гляди, как привязывать – может пригодиться!» Мальчик несколько шархался от такой шутки, но не убежал, а дядя Ваня зловещим и хриплым голосом, довольно смеялся сквозь вставные железные зубы. Глядя на всю эту картину, делалось жутко и совершенно очевидно, что та вой-на – это невообразимый ужас и абсолютное зло для всех её реальных участников.

Вскоре дядя Ваня умер. Недолго жили настоящие боевые ветераны... Морально и физически искалеченные вой-ной, они едва ли дотягивали до пенсии.

Ну, и тут старшим мужчиной в семействе стал Борис. Он так же, как и ветеран вой-ны вставал на первый тост и гово-

рил по-отечески пафосно и грозно, будто брал Берлин, а не топтал зону.

Его не так боялись, как дядю Ваню, но тоже робели, ведь в основном за столом сидели женщины и дети. Но с годами он распоясался и, как уже было сказано, потерял берега. Каждый год меняя места работы и быстро входя в конфликт с руководством, он заявлял себя принципиальным правдорубом и, как бы сейчас его величали, правозащитником. После каждого такого увольнения проходили месяцы безделья, безденежья и беспробудного питания. А дома... Ну, а дома творился уж совсем гротеск гиперболович.

Дома были две дочери и бесконечно заученная им жена (если кто прочитал «замученная», то это тоже верно). Женщина была работящая, покорная и во всем мужа оправдывающая: «Другие-то, вон какие – всё по бабам, да по бабам! А моему Борису никто и не нужен... Вот только пьёт и дерётся, но это ничего, другие-то, которые по бабам – они ведь, гораздо хуже», – приговаривала она, когда мужа ругали, удивляясь её терпению.

Исходя из личного богатого и такого своеобразного уголовного опыта, он воспитывал и своих дочерей. Жили они в квартире с балкончиком на последнем этаже хрущевской кирпичной пятиэтажки. Когда сёстры учились ещё в начальной школе и были совсем детьми, на балкон регулярно стал прилетать ослепительно белый и совершенно ручной голубь. Стоило в любое время дня выйти за балконную дверь и про-

тянуть руку с пшеном или хлебом, голубь невесть откуда тут же слетал и, доверчиво садясь на кисть, начинал клевать корм, довольно воркуя. А потом, покормив забавную птичку, можно было подержать её в руках, погладить и даже запустить в небо. Голубь делал прощальный круг и улетал куда-то ввысь и за горизонт.

Так продолжалось много лет...

И вот, как-то младшая дочь Наташа пришла домой из школы. Папа в очередной раз давненько не работал, и который день грустил. Он сидел за обеденным столом, перед ним стояла початая бутылка водки и тарелка с супом.

– А, это ты, дочка... Ну, здравствуй! Как учёба, какие отметки?

– Да всё нормально, пап...

– А ну-ка, покажи дневник.

Наташа сняла школьную форму и переоделась, достала из портфеля дневник и принесла папе. Раз в месяц отец принимался играть роль родителя и объяснять, что учиться надо хорошо, грамотно и аккуратно писать, много читать и быть вежливой с учителями. Борис открыл дневник, увидел четверку по пению и похвалил.

– Наливай себе суп и садись обедать, – необычайно ласково пригласил он пионерку.

Наташа взяла чистую тарелку и подошла к плите с кастрюлей: «Это в кои времена отец суп сварил? Странно...» Девочка открыла крышку и увидела в бульоне плавающую

кверху лапками несоразмерно маленькую для курицы тушку. Неприятное предчувствие вмиг нахлынуло и овладело всем существом. Девочка шевельнула в кастрюле половником, и тут из мутной жижи всплыла лысая головка без гребешка с гулькиным клювом.

– Папа, что это?!

– Это голубь, дочка. Наливай пока горячее, садись и ешь!

– Это что... – тот самый?! – Наташа, в ужасе всхлипывая и трясясь, бросила половник, попятились и выбежала из кухни, прокричав: «Сам жри!!!» Отец встал из-за стола, прошёл за дочерью в комнату и принялся назидательно учительствовать: «А знаешь ли ты, что в вой-ну не только всех голубей, но и собак, и кошек в Москве съели?! Думаешь, было не жалко? Жалко! Плакали, но ели! А если опять вой-на?! Ты понимаешь, что надо быть сильной и готовой ко всему? И надо себя тренировать...! Вот сегодня, выпить купил, а закусить нечем, денег-то нет! И что делать? Так и сидеть неевши?! Да ладно – я, но у меня же дочь! Её ведь кормить надо! Какой я отец, если тебя оставлю голодной?! Наташа, ты должна взять себя в руки, утереть сопли и пойти поесть!»

Наташа есть суп не стала, но запомнила сцену на всю жизнь. А папа допил бутылку и сам доел суп. Жене и старшей дочери предложить бульон из любимого голубя не решился.

Да и вообще, у Бориса Николаевича отношение к животным было каким-то странным... Приблизительно в то же время, когда так поучительно был сожран голубь, в семье по-

явился жизнерадостный небольшой рыжий щенок. Много и с увлечением читающий отечественную литературу отец семейства, предложил назвать его по-чеховски Каштанка. Маруся сразу согласилась. Но это был кобель, и дети настояли на имени Антошка, в честь героя популярного в те годы мультика. Внешне забавный Антошка был очень похож на лису, а характером – понятлив, доброжелателен и доверчив. Все его, конечно, сразу полюбили и почитали за члена семьи. Особенно благоволили друг к другу Борис и Антон. У них даже, когда хозяин бывал выпивши, происходил диалог по мотивам поэзии Сергея Есенина:

– Ну что, друг Антошка, – заводил тему человек, и пёсик подходил к размягченному водкой Боре, – как поживаешь? Ты ведь всё понимаешь – да...? Ведь он всё понимает, Маша, – обращался хозяин за сочувствием к жене, и затем снова к Антошке, – Ведь ты же всё понимаешь, правда?!

Собачка крутила изумлённо головой, преданно смот-рела в глаза, и робко вполголоса отвечала:

– Рррр-гав!

Борис чуть не плакал от умиления... Он даже с ним иногда выходил гулять, редко, но выходил.

На третьем году жизни Антон повзрослел, окреп и стал часто лаять на звонок в дверь или на какой--нибудь посторонний шум, шорох или звук. Особенно он делался залиivist при выходе из подъезда. Каждый раз, выбегая из дверей на улицу, он оглашал лаем просторы двора, пугая сидевших на

скамейке бабок. Те сначала веселились на столь бурное проявление молодости и задора, но потом стали постоянно делать хозяевам собаки замечания. Лай был внезапным и пугал мирных старушек. Пару раз Борис Николаевич злобно возражал соседям, мол, что ему голову, что ли открутить?! Но они, так же как и Антошка, не унимались: он лаял, они ворчали. И вот раз, начальная часть сцены повторилась, а финал оказался, так сказать, из другой оперы... Борис Николаевич подозвал к себе только что радостно лаявшего на соседей своего четвероногого друга, приподнял его на руки и одним ловким движением свернул пёсику шею. «Вы этого хотели?!» – рывкнул Боря на онемевших бабулек и бросил к их ногам тело. Антошка немного подергался и умер. Папа вернулся с прогулки один и на вопрос дочерей объяснил, что Антошка остался гулять на улице.

Конечно, они пошли за ним... Потом все плакали и хоронили собачку в рощице возле дома. Ничего не поделаешь, отцов не выбирают.

Но не только с другими был суров и даже жесток Борис Николаевич. Когда у него болели зубы, то к доктору он никогда не ходил. Брал обычные стальные клещи для гвоздей, запирался в комнате, орал, стонал и, завывая, выдирав так зуб со всеми его корнями. Семья тихо сидела за дверью и тряслась от страха. Выходил из комнаты с горящими глазами и гордо поднятой головой: «Вы что думаете, в тюрьме врача кому-то выписывали?!» – рычал герой, показывая

окровавленный выданный зуб.

Или вот ещё...

Стиральные машины тогда только появились и в быту были крайне редки, оттого Маруся бельё стирала руками. Муж в это время обычно сидел перед телевизором на диване и просвещался. Когда его вдруг на экране что-то заинтересовывало, то он орал что есть мочи:

– Маша! Маша!! Ма-аа-ша-аа!!! – Маша вбегала, вытирая мыльную пену с рук и задыхаясь, услужливо спрашивала:

– Что, Борь?

– Кто это?! – тыча пальцем в экран, нетерпеливо вопрошал супруг.

Маруся подходила к телевизору ближе, вытягивала шею, прищуривалась и робко произносила:

– Ой, Боря, что-то я и не припомню, кто?

Боря раздражённо махал на жену рукой и злобно шипел:

– Эх ты! Иди отсюда! Иди!!

И Маруся послушно шла стирать дальше. Иногда она могла угадать... Но это бывало редко.

Пил Борис не запойно и не так много, но зато почти каждый день. Иногда перепивал и при этом очень страдал. В подобных случаях он спал отдельно от Маши. Она уходила к дочерям в другую комнату. Отравленный алкоголем мужчина сильно храпел, всхрюкивал, задерживал дыхание, задыхался и наконец, просыпаясь среди ночи, испытывал во рту страшный сушняк. И тогда он начинал с нарастанием ахать

и охать, исторгая на выдохе из груди протяжный стон, будто после полостной операции, умоляя санитаров: «Водыы! Водыыы!! Водыыыы!!!»

Маруся мигом вскакивала с постели и бежала на кухню за водой. Покалеченный водкой, выпивал стакан живительной влаги и все наконец-то засыпали. Прошло немало времени и однажды, уже взрослая старшая дочь остановила маму с её порывом отпоить пьяного мужа. Когда тот застонал, потом захрипел, а уж потом и заревел, повторяя только одно заветное слово: «Воды!»), – к нему никто не пришёл. Маруся каждую минуту порывалась встать с кровати, но дочь была неумолима: «Не смей!» И через час заклинаний, пьяная скотина проорала сакраментальную фразу: «Ну и х...@ с вами! Сам доползу!» И ведь дополз... Сам! И даже не дополз, а дошел. Всего-то три метра до кухни и кувшина с водой. Чего уж ползти-то: чай, не через линию фронта.

Была у Дяди Бори и хорошая, даже чуткая черта характера. Слышал он фальшь. Но не музыкально–интонационную, а фальшь исполнительскую или человеческую, что ли. Вот когда чувство меры изменяет талантливому человеку, то тут он сразу и чуял.

Как думаете, какую песню больше всего может любить отсидевший восемь лет в тюрьме совсем ещё молодой человек? Кто-то наверно догадался, что это песня «Письмо к матери» на стихи поэта Сергея Есенина.

«Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад»,

– помните эти строки? Восемь лет был в разлуке с матерью и великий поэт, и Борис. И как же сильно, и так трагически всё перекликалось и отзывалось!

Только ради этой песни, дядя Боря и купил новую виниловую пластинку талантливого цыганского певца Николая Сличенко. Принес домой, поставил на вертушку и присев, с замиранием сердца стал слушать... И всё бы хорошо, но тут певец в одном, а потом и в другом месте, неожиданно перешёл на речитатив: ну, так ему показалось убедительней... Но по телевизору-то он пел по-другому, а тут вдруг заговорил? Это был перебор. Песня не дозвучала, Борис выдернул пластинку из проигрывателя и вдребезги разбил её об пол: «Он что, петь разучился! Халтура!» Маруся быстренько веничком собрала виниловый мусор в совочек и выбросила в ведро. Больше Борис Николаевич певца своим вниманием никогда не жаловал и если что, телевизор сразу переключал на другую программу.

Или вот ещё из доброго и чувствительного в его характере... Музыканты модного тогда джазового оркестра Олега Лундстрема, одетые в белые с атласом смокинги, сидели и играли какую-то композицию. Сам маэстро стоял чуть сбоку и легонько дирижировал. Дядя Боря, развалившись на

диване, заинтересованно смотрел и слушал. И вдруг артисты дружно встали, положили свои инструменты на стулья и стали отбивать ритм, хлопая в ладошки, будто малые дети. Продолжалось это относительно долго. Затем они что-то выкрикнули, схватили духовые и продолжили играть. Борис Николаевич мигом вскочил с дивана и на весь дом насадным голосом заревел: «На лесоповаааал! Всеееех на лесоповаааал! Они должны на своих дудках играть, а не хлопать! На лесоповаааал!!!»

И ведь так оно и есть – певцы должны петь, а музыканты играть. Чего уж тут...

А ещё он мог весело и добродушно посмеяться над собой...

Однажды пошёл с младшей дочерью в зоопарк, ну с той, при которой голубя слопал. Походили–побродили, и тут на жаре захотелось папе пивка... Раньше пиво продавали прямо из бочки. А бочка та стояла неподалёку от клетки с бегемотами и бассейном для них. Бегемоты купались, порой вылезая погреться на солнышке. Наташке, пока отец готовился употребить лёгкий спиртной охлаждающий напиток, было приказано стоять возле металлических прутьев забора и любоваться на забавных зверей. Она и любовалась. Отойдя поодаль к бочке с пивом, Борис отстоял очередь, взял поллитровую пузатую кружку с напитком, чуть отошёл, сдул пену и...

И тут, это самое смешное, и приключилось...

Толстокожий бегемот, завершив купание, вылез на берег к самой решётке, за которой стояла маленькая девочка, повернулся к ней и остальной публике задом и застыл. Народ, конечно, сообразил не сразу, да и кто мог знать, и как было вдруг понять...? Зверя расслабило... Его маленький заячий хвостик заработал, словно пропеллер, и целую минуту, каловые массы разлетались во все стороны. Дядя Боря успел отхлебнуть только глоток, когда оно прилетело точно в кружку. Прилетело и ударилось о стекло снаружи. Пить сразу стало, конечно, невозможно и даже как-то унижительно. С тревогой отец глянул на дочь, стоявшую в метре от задницы бегемота. Та же, как держалась за решетку, так и продолжала стоять и глазеть на акт бессовестной дефекации наглой твари. Досталось всем: на расстоянии до двадцати метров граждане были обосраны и воняли. И только семилетняя девочка чудом осталась нетронутой. Оказалось, по центру бегемоты не стреляют!

Это чудо сгладило облом с пивом, и даже привело Наташкиного папу в восторг, которым он потом долго и радостно со всеми делился.

Ну, вот и всё, что можно вспомнить о нём хорошего.

* * *

У вас, наверное, уже давно возник вопрос: почему я с таким злобным сарказмом и без обиняков пишу про этого

ублюдка? Чернуха какая-то, хоть это и правда, но всё же – зачем?

Когда умерла его мать, то во время похорон на пути к могиле, процессия притормозила, чтобы перехватиться и нести дальше. И тут старший сын с возгласом: «Что ж так медленно-то?! Если не можете, я свою мать один допру!» – подсел спиной под середину открытого гроба и, выхватив, таким образом, его из рук несущих, помчался, виляя среди изгородей и могил к родовому участку. Несчастливая покойница, всю жизнь переживавшая за этого выродка, и здесь – на своем последнем пути чуть было не вывалилась из гроба, вскидывая будто живыми руками, и заваливаясь то на один бок, то на другой. Тащить он, конечно, не дотащил – устал, перехватили, но нервы всем участникам процессии потрепал изрядно. На поминках Борис, как следует выпил и было громко запел. Но к тому времени многие подросли... Дядю Борю вежливо вывели в подъезд, надели на него пальто и зимнюю шапку, дали в морду и вытолкали на улицу. Марусю, было за ним поскакавшую, остановили на пороге. На этот раз она следом не пошла...

Чудовище было явным генетическим сбоем. Может это какое-то психическое расстройство? Впрочем, возможно, что тюрьма так сильно съездила ему по мозгам. Или алкоголь.

Да, какая разница!

Оно издохло в 64 года, покалечив жизнь жене и двум до-

черям, которые пережили его совсем ненамного.

Интересно: дядя Боря мучает чертей на том свете, или они его?

«— Зачем живёт такой человек!» — воскликнул один из героев Достоевского.

У меня ясного или однозначного ответа так и не появилось.

Тётя Оля

Приблизительно в шестьдесят лет тётя Оля очередной раз вышла замуж. Ну, не совсем вышла, а просто к ней прибился совершенно седой, здоровущий и крепкий на вид дедушка, участник Великой Отечественной войны из Москвы Григорий Васильевич. Он был одинок, и судьба каким-то образом занесла пенсионера-ветерана под Тулу, в почти забытую и Богом, и властью деревню.

От первых четырёх мужей тетя Оля родила четверых детей, которые давно выросли и разъехались. Раз в месяц кто-то из них приезжал домой и помогал своей престарелой, но шустрой матери. Чаще всех навещала дочка, а три сына, как и бывает частенько, не очень-то баловали маменьку. Но та никогда не унывала и справлялась сама. Была она задорной, с ироническим складом ума и чувством юмора. Потрясающее воображение позволяло ей рассказывать удивительные истории не только из своей деревенской жизни, но и случаи и события из жизни всех живущих в округе. Не знаю, как только она их в таком количестве выдумывала, но делала это очень умело и даже, можно смело сказать, талантливо. Всё ею так ярко и образно нарисованное казалось мне несомненною правдой, да оно, может, правдой и было, но только до тех пор, пока в рассказах не появлялись русалки, водяные, домовые, вурдалаки, душиители и прочие предста-

вители нечистой силы. Тем более в сюжетах все эти твари являлись то комсомольцами, то партЕйными, а то и передовиками и ударникам социалистического труда. Я, младший школьник, конечно, очень бы и хотел всему этому верить, но моя трезвомыслящая и критически настроенная бабушка мешала и периодически, в самый разгар чудесного таинства, резко и безапелляционно прерывала повествование беспощадной репликой: «Да будет врать-то!»

Тётя Оля, странным образом, вовсе не обижалась, а только выпучивала глаза и, крестясь, тотчас страстно объявляла: «Ей Богу, Ксения!»

Как и её новоявленный муж, мы были из Москвы. Моей бабушке она приходилась троюродной сестрой, и приезжали мы с июня по сентябрь уже несколько лет. Так всё лето и жили в одной избушке в две комнаты. Электричества ещё не провели, а и позже, когда провели, то отключали по десять раз на дню. Так что вечера проводили при керосиновой лампе, с прыгающими тенями и шуршанием мышей по стенам, в бревнах под обоями, которых, прихлопывая ладонью, тётя Оля ласково называла «мышаточки». Она и поганки в лесу звала «поганьчики». Всё у нее было по-своему и хоть немного, но навыверт.

Рассказывая свои байки, тётя Оля каждый эпизод завершала паузой, в которую она раскрывала коробочку с нюхательным табаком и, экономно прихватив двумя пальцами щепотку, размеренно и с какой-то значимостью занюхива-

ла сначала одной ноздрей, потом другой. Через мгновение морщилась и чихала по нескольку раз, крикала, сморкалась в тряпочку и, наконец, возвращалась к теме.

Повествовала она чрезвычайно образно. Наверно, тут и заключена тайна врождённого дара рассказчика. А может, и сама в детстве от кого-то переняла такую манеру доверительного и образного вещания... Никто уж теперь точно и не скажет. Но, кроме непосредственно эмоциональной формы, никаких особенных выводов рассказы её не имели и по сути своей были довольно ничтожны: так – страшилки какие-то... Вывод был всегда простой и почти один и тот же: «И вот опосля того разу Федька совсем пить бросил и мимо Кирушкиной вершины только с кем-нибудь вдвоём ходил!»

Либо: «И Мишка уж больше не курил и к болоту тому даже близко не подходил!»

Иногда её Григорий Васильевич решался на соперничество и, как человек воевавший, затевал свой собственный и, безусловно, реальный рассказ о тех страшных днях войны, которые пришлось ему пережить на фронте в восемнадцать лет. Наверно, события тех дней были ужасны и стали фатальны для психики совсем тогда ещё молодого парня. Вероятно, они и трагичны, и интересны, и поучительны, и, главное, абсолютно правдивы... Но рассказывать он не умел совершенно. Слов не хватало, проследить за мыслью и сюжетом возможности никакой не было, становилось скучно и бестолково от его «тыр-пыр». Тётя Оля, чувствуя всё

это самой первой и всей своей кожей, ёрзала и, нетерпеливо уточняя, переспрашивала, а то и вовсе бесцеремонно перебывала рассказчика. Дед, не в силах донести сюжет до ума, начинал сначала трястись и гневаться: не то на тётю Олю, не то на своё косноязычие, а затем и на весь такой непонятливый мир. Он размахивал, помогая себе руками, раскачивался всем корпусом и рассказывал всё громче и громче, как глухонемой безо всякого слухового аппарата...

– Даааа, тебе легко говорить, – капризным голосом возражал дед на уточняющие суть вопросы своей бабки. – А я в доте сидел! Всех поубивало, а я один живой остался! Каково мне было?! – начинал уже было совсем по-детски, всхлипывать седой старик...

Но тут тетю Олю словно черти подначивали, и она, наслушавшись такой ужасно нестройной истории о вой-не и уж совсем натерпевшись и наёрзавшись, вразрез всему, будто старуха Шапокляк, как из рогатки, пуляла свою язвительную фразу:

– В доте он сидел! В жопе ты сидел, а не в доте! Они отстреливались, их и поубивало, а ты со страху спрятался, вот и живой!

Тут он, не в силах отвечать и соответствовать пикировке на таком оскорбительном уровне, начинал просто завывать и колотиться в слезах, будто дитё, повторяя одно и то же низким срывающимся старческим голосом:

– Тебе легко тут!... Тебе легко!... А я сидел!... А ты...

тут!... Тебе легко...

И плакал, и плакал.

Тёте Оле, наконец, переставало быть стыдно за неумелый рассказ своего старика и делалось стыдно за свою жестокость. Она смущенно бормотала, мол, ладно, что уж ты так-то...

Вечер был испорчен. Дед всё рыдал. Они шли успокаиваться в свою комнату, а мы с моей бабушкой ложились спать тут, где только что произошла то ли драма, то ли комедия.

Сцена эта повторялась каждый раз, когда дед за ужином выпивал самогонки и его тянуло на воспоминания. А воспоминание почему-то было только одно: про дот и то, как он в нём сидел. У кого ж терпения-то хватит слушать всё это с почтением и без сарказма чуть ли не через день?!

С годами стало тяжелее, и на зиму они стали уезжать к деду, в Москву. Там он однажды и пропал... Пошёл за пенсией на почту... Видели его потом возле винного магазина, где он на ступеньках воскликнул: «Ну, кто со мной?! Угощаю! Налетай!!!» – и, достав пачку с руб-лями и потрясая ею над головой, вошёл внутрь заведения.

Квартира отошла государству, тётя Оля вернулась в деревню. Дети помогали, как могли, но в конце концов дом продали и забрали её к себе.

В самом начале девяностых умерла.

Забыл написать: была она ещё и плакальщицей. Слышал раз, как она на всю округу голосила по умершему соседу

с другой стороны деревни, через речку. Лихо это у неё выходило...

А в перестроенном доме сейчас живёт какой-то контуженный отставной полковник. Он не то что рассказывать не умеет, а просто нечленораздельно рычит и мычит. И когда выпьет, то гоняется с топором за своей тихой престарелой женой и орёт, что Россию продали почему-то каким-то татарам. Даже полицейская машина с включенной «люстрой», пару раз приезжала его усмирять. И где его контузило, вроде не воевал?...

Наверно, нечистая сила в том доме всё же водится! Мышатовки и она – нечистая...

Зиночка

Когда Зиночке только исполнилось три с половиной годика, её определили, как уже совсем взрослую ходить к железнодорожным путям и воровать уголь. Вернее, сама она не воровала, а только одиноко стояла на стрёме. Воровал и складывал камни в мешок старший брат Юрка. Он был на три года старше и ходил за углём давно.

Казалось бы, что такое уголь? И кому может быть жалко одного мешка на обогрев семьи, где малолетние дети, а папа добровольцем на фронте? Но шел 41-й год, и всё было непросто.

Только один раз их застукали и засвистели в свисток. Побросав всё, они убежали. Но может, им просто дали убежать...

Позже, в жизни Зиночки было много всего: и страшного, и тяжёлого, и, казалось бы, невыносимого. Она вышла замуж, родила и развелась, стала главным инженером завода в Москве, а потом объездила всю, ещё ту – большую страну с инспекционными поездками.

Никогда Зинаида Николаевна так и не воспользовалась своими служебными возможностями, хотя, как у руководителя, конечно, они у неё появлялись... Такой порядочной была или просто боялась?

Когда на своём 80-летнем юбилее она стала произносить

тост, то из всей своей сложной жизни вспомнила только то, как они с братом воровали, и как потом бежали. Она рассказывала скомкано, всё время путаясь и запинаясь, а в конце заключила: «Я ведь дитя вой-ны...» Остановилась, села на стул, да так ни с кем и не чокнулась. Гости, конечно, почтительно выслушали, но близко к сердцу не приняли. Из того давнего военного времени рядом уже никого не было, их просто не осталось. Зиночка вновь ощутила себя той маленькой и одинокой девочкой, стоящей на стрёме. Она вся съежилась и даже не подумала, а как-то почувствовала: «Ну, вот и всё».